ЕЛИЗАВЕТА РАЧИНСКАЯ

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

Б. Петлеванный?
М. Аполлоновой?

Е. РАЧИНСКАЯ

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

Воспоминания

ПОСВЯЩАЕТСЯ ХАРБИНУ И ХАРБИНЦАМ

1982

E. RACHINSKY

PERELETNYE PTITSY

POSVIASHCHAETSIA KHARBINU I KHARBINTSAM

Copyright 1982 by Author and Globus Publishers.

Library of Congress Catalog Card Number: 82 — 082994.

All Rights Reserved. No part of this publication may be translated, reprinted, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Printed in United States of America by "Globus Publishers"

E. Rachinsky
"BIRDS OF PASSAGE"
Dedicated to Kharbin
and its People

ОБЛОЖКА РАБОТЫ
ИРИНЫ ДРАГОМИРЕЦОЙ

Цвет обложки соответствует цвету ленты к медали участникам похода отряда генерала Линевича из Маньчжурии в Пекин на подавление боксерского восстания в 1900 г.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Жизнь в Маньчжурии, в том числе, конечно, и в Харбине, была тесно связана с деятельностью Китайской Восточной железной дороги, которая явилась могучим стимулом к экономическому и культурному развитию этого края. Чтобы понять те особые условия, которые создались там в свое время и по силе инерции продолжались еще много лет после того, как Россия была охвачена революционными событиями и катилась в бездну полной экономической разрухи, необходимо хотя бы вкратце познакомиться с историей возникновения и работой этого широко задуманного и талантливо осуществленного предприятия, детища пионеров русского влияния на Дальнем Востоке.

Постройка Китайской Восточной железной дороги имела своей целью соединить Сибирскую магистраль с Уссурийской железной дорогой, кратчайшим путем, создав таким образом прямое сообщение между Европейской Россией и Тихим Океаном.

Избранное после рекогносцировочных изысканий Маньчжурское направление, как наиболее удобное во всех отношениях, создавало для Владивостока перспективу сделаться главным портом Северной Маньчжурии и обеспечивало благоприятные условия для русской торговой и промышленной инициативы по мере заселения этого края, как русскими, так и китайцами, и разработки его природных богатств.

Переговоры о постройке маньчжурской железной дороги начались в Пекине в 1895 г. Соответствующими министерствами русского правительства был составлен проект концессии и меморандум, излагавший выгоды,

которые должно было принести Китаю осуществление этого проекта.

Дальнейшие переговоры велись уже в России и в 1896 г., в силу соглашения, подписанного представителями русского правительства и чрезвычайным китайским послом, Ли Ху-Чжаном, Россия получила концессию на постройку и эксплуатацию Маньчжурской (как она сначала называлась) железной дороги и права экстерриториальности в широкой полосе по обе стороны железнодорожной линии, так называемой Полосе Отчуждения, в которой действовали русские законы, был учрежден русский суд, создана русская железнодорожная охрана, русская полиция и т. д.

Формально, сторонами этого договора были Китайское правительство и Русско-Китайский Банк, который для постройки и эксплуатации Дороги создал акционерное предприятие, «Общество Китайской Восточной железной дороги», тысяча акций которого принадлежала Российскому правительству.

Обществу было предоставлено право эксплуатировать Дорогу в течение 80 лет со времени открытия движения по всей линии. После этого, Дорога безвозмездно переходила Китайскому правительству. Последнему было также предоставлено право выкупить Дорогу по истечении 36 лет.

В 1898 г., по занятии Россией Квантуна на правах аренды, план постройки был расширен и было принято решение одновременно проложить железнодорожную ветку, которая должна была связать КВжд с портами Квантунского полуострова, Порт Артуром и Дальним, (Дайреном). В силу особого договора от 24. 6. 1898 г. между Китайским правительством и Обществом КВжд, на южную ветвь были распространены все условия основной концессии.

Первые партии русских инженеров прибыли в Маньчжурию летом 1897 г. Им предстояло, в очень тяжелых условиях, произвести изыскания и выполнить сложную предварительную работу, которая позволила бы приступить к составлению строительного проекта.

Эта работа заняла в общем три года, так как были предложены и изучались различные варианты при выборе наиболее выгодного и удачного направления пути.

Главная линия КВжд Западная, длиной в 935 клм. Она доходит до ст. Маньчжурия, после которой начинается уже Забайкальская ж. д.

Линия эта, почти не отклоняясь, идет в северо-западном направлении, по ровному безводному водоразделу рек Сунгари и Нонни. На 338-ом километре линия вступает в долину реки Ял и, постепенно поднимаясь, следует вдоль нее. После станции Бухэду начинается восточный подъем к Хингану. Чтобы пересечь Хинганский хребет был построен грандиозный туннель длиной в 3.077 метров; для преодоления подъема была устроена замкнутая петля, радиусом в 320 метров, в которой нижний путь проходил под верхним в каменной трубе, отверстием в 9,5 метров. За перевалом начинается спуск в долину р. Хайлар через местность, пересеченную оврагами и отрогами Большого Хингана.

Интенсивное заселение Западной линии началось еще до революции, а с начала двадцатых годов приняло весьма обширные размеры.

Восточная линия КВжд, длиной в 555 клм., начиная с ближайшей к Харбину станции Ашихэ, проходит по местности, которая до прихода японцев была богата лесами и славилась живописностью своих станций. Японцы, для борьбы с хунхузами — (китайскими разбойниками) — принялись усиленно вырубать леса и во многих местах, прилегающих к ж. д. пути, совершенно оголили сопки.

Восточная линия отличалась сравнительно мягким климатом. На станциях Имяньпо и Маоэршань процветали ягодные плантации, пчеловодство; некоторые пасеки насчитывали по несколько сот ульев. Леса были богаты дичью, давая заработок профессиональным охотникам. Обилие дикого винограда вызвало к жизни очень доходное занятие — виноделие. Другие станции этой линии, как Ханьдаохэдзы, Эхо, Мулин, были тоже щедро одарены природой и на них трудились и устраи-

вали себе жизнь бок о бок и русские, и китайцы.

Пограничная, последняя станция перед границей с СССР, была крупным культурным центром. На ней, как и на всех более значительных станциях Дороги, было несколько русских школ, гимназия, и помимо этого таможня, русская и китайская.

Южная линия, длиной в 942 клм., плюс ветка на Порт Артур длиной в 36 клм., примыкает к главной линии у Харбина, направляется на юго-запад к Мукдену, обходит его с западной стороны и пройдя далее в Инкоускую долину вступает в гористый район Ляодунского полуострова.

После русско-японской войны Россия, по Портсмутскому Договору, уступила Японии участок южной линии от Чаньчуня на юг, вместе с городами Дальний и Порт Артур, который стал называться Южно-Маньчжурской железной дорогой. В распоряжении КВжд оставался отрезок линии длиной в 240 клм. Пограничной станцией этой ветки была ст. Куанченцзы, служившая также передаточным пунктом на ЮМжд. Таким образом, единственным портом в распоряжении КВжд остался Владивосток. Дорога получила в аренду, продолжавшуюся до 1920 г., Уссурийскую ж. д. и специально выделенную для ее нужд часть портовой полосы, так наз. Эгершельд.

Одновременно с прокладкой железнодорожных путей, сооружением туннелей, мостов и пр., шла также постройка станционных помещений, жилых домов для служащих, с надворными постройками, казарм и полуказарм для размещения частей Охранных войск и т. д. Около станций образовались поселки, русские и китайские; некоторые из них постепенно разраслись и превратились в настоящие благоустроенные городские центры, с развитой промышленностью и торговлей, с многочисленным, хорошо обеспеченным населением.

Так, например, на Западной линии при станции Цицикар вырос большой поселок, в котором в 1930 г. проживало четыре с половиной тысячи человек. Здесь были маслобойный завод, табачная фабрика, паровая мель-

ница. Благодаря близости Нонни процветал рыбный промысел. Другие станции, как Маньгоу, Аньда, были крупными пунктами для экспорта хлебных грузов. Из Халасу, Барима с близлежащих лесных концессий шла в крупном масштабе вывозка леса.

Самой большой станцией Захинганья был Хайлар, рядом с городом того же названья. Здесь жизнь била ключом. Близость Монголии способствовала развитию таких предприятий, как скотобойни, кожевенные и шерстомойные. Конечная на этой линии ст. Маньчжурия, место стыка с Забайкальской ж. д., тоже процветала благодаря близости каменноугольных копий Чжалайнор и богатого рыбой озера Далайнор, не говоря уже о недалекой Монголии с ее миллионными стадами.

В этом же районе нужно особенно отметить так наз. Трехречье, где по окончании службы в Охранной страже селились казаки, а также выходцы из Забайкалья. Они заводили на широкую ногу хозяйство в своих поселках, снимали с полей богатый урожай, держали много скота, одним словом жили так, как привыкли жить в своих родных станицах.

Жители Южной ветки занимались главным образом хлебопашеством. На одной из крупных станций этой ветки, Яомынь, было развито птицеводство и отсюда в Харбин поступали яйца, битая птица и т. п. Кроме того, Яомынь славилась лучшими в Маньчжурии соевыми бобами.

Это всего несколько слов, чтобы дать представление о том, как богата была Маньчжурия природными богатствами и какое широкое поле деятельности находили в ней и старожилы края, и новые пришельцы, хлынувшие туда с эмигрантской волной.

Но вернемся к истории КВжд.

Административным центром Полосы Отчуждения было решено сделать Харбин, который вначале был, конечно, только в проекте. Во всяком случае, для него было выбрано место с учетом его счастливого географического положения на скрещении большого водного пути и железной дороги. Моментом официального рож-

дения Харбина считается весна 1898 г., когда под него был окончательно намечен район в треугольнике между предположенной трассой КВжд и рекой Сунгари с ее притоком, р. Ашихэ. Первоначально ему было дано название «Поселок Сунгари».

Можно только поражаться, с какой быстротой на пустынной, болотистой местности, с разбросанными там и сям жалкими китайскими деревеньками, возник прекрасный город, широко раскинувший сеть своих улиц и своих пригородов и ставший на этой далекой окраине проводником европейской, главным образом, русской культуры. Русское правительство признало крайне желательным широкое привлечение русского населения в район Дороги. Поэтому полоса отчуждения была для Харбина значительно расширена и вообще отчуждение земель под Дорогу с самого начала проводилось в гораздо более крупных масштабах, чем это практиковалось в России. После удовлетворения нужд Дороги, земля предоставлялась частным лицам для заселения и торгово-промышленной деятельности.

Харбин «пошел быть» из района, ставшего впоследствии окраиной города, из так называемого «Старого Харбина», где расположилось прибывшее на п/х «Благовещенск» 28 мая 1898 г. Строительное Управление КВжд. Приехавшие разместились в цыновочных бараках. Вскоре там же было открыто отделение Русско-Китайского Банка. Началось строительство жилых помещений, сначала в Старом Харбине, потом в районах, получивших впоследствии название «Нового Города» и «Пристани». Над постройкой Нового Города, где в первую очередь возводились жилые дома для железнодорожных служащих, трудились тысячи прибывших с юга Китая китайских кули. При составлении строительных планов большое внимание уделялось требованию обставить персонал Дороги с наибольшим комфортом.

Вскоре началось и частное строительство и заселение, часто самочинное, окраинных районов, образовавших многочисленные пригороды Харбина. В частности, постепенно вырасло так называемое «Модягоу»,

харбинское «Царское Село», непосредственно примыкавшее к Новому Городу. Постепенно Харбин принял тот вид благоустроенного и красивого городского центра, каким нашла его хлынувшая в него после конца белой эпопеи волна эмигрантов.

Боксерское восстание, вспыхнувшее в Китае весной 1900 г. и направленное против иностранцев, перекинулось и в Маньчжурию, нарушив нормальную работу по постройке Дороги. Когда жизнь в крае снова вошла в нормальное русло, линия Дороги представляла собой картину полного разгрома. Значительная часть уже сделанного, была разрушена, сожжена и разграблена. Достаточно сказать, что причиненные Дороге убытки выразились в сумме 71 милл. рублей. Они были полностью возмещены китайским правительством.

Когда все успокоилось, опять закипела работа и 1 июля 1903 г. дорога была передана в ведение Эксплуатационного управления и начала правильно функционировать. Первым управляющим КВжд был генерал Д. Л. Хорват.

Во время русско-японской войны, вспыхнувшей в конце января 1904 г., Дороге пришлось перевозить военные эшелоны и миллионы тонн военных грузов. Были приняты чрезвычайные меры для увеличения ее пропускной способности. Особенно трудно пришлось Южной линии. После заключения мира, как уже сказано, часть этой линии от Чаньчуня и дальше на юг была уступлена Японии.

Регулярная работа по перевозке грузов возобновилась только в 1907 г.

С началом Первой мировой войны Дорога была перегружена перевозками военных грузов, а после революции изменилось и ее правовое положение. В 1918 г. Северная Маньчжурия вместе с русским Дальним Востоком вошла в сферу влияния международной интервенции, причем КВжд поступила в ведение международного железнодорожного комитета. Ушел с своего поста Управляющий Дорогой ген. Д. Л. Хорват; его преемниками стали сначала В. Д. Лачинов, а после него

Д. П. Казакевич. После революции условия работы на Дороге создались тяжелые, так как дисциплина среди служащих и рабочих была сильно расшатана.

Изменилось и правовое положение русского населения Маньчжурии. 23 сентября 1920 г., декретом Президента Китайской Республики, русские были лишены прав экстерриториальности и вся административная власть до того находившаяся в руках русских, была передана китайцам. В Полосе Отчуждения был создан Особый Район Восточных Провинций во главе с Главноначальствующим. Тогда же были введены китайские судебные учреждения: в Харбине — Судебная Палата и Окружной Суд. Русские адвокаты продолжали, однако, свою профессиональную деятельность при содействии китайских драгоманов.

Вслед за этим была упразднена русская полицейская власть. Русским было предписано выбирать себе виды на жительство.

В начале 1921 г. на собрании акционеров Русско-Азиатского Банка, бывшего Русско-Китайского, и представителей администрации КВжд было подписано соглашение о новой структуре управления Дороги. На должность управляющего был приглашен инж. Б. В. Остроумов. Благодаря его административным способностям и кипучей энергии работа Дороги быстро вошла в нормальную колею. Оживилась торговля и деловая жизнь края: Харбин переживал полосу расцвета.

В 1923 г. был отпразднован двадцатипятилетний юбилей Дороги.

Осенью 1924 г. вошло в силу соглашение между Китаем и СССР о совместном управлении КВжд на паритетных началах. Русским служащим было предложено или брать советские паспорта, или переходить в китайское гражданство, или же, наконец, увольняться с Дороги. Новыми управляющими Дороги с советской стороны были последовательно Иванов, Емшанов, Рудый.

В 1927 г. власть в Китае перешла в руки партии

Гоминдан, которая враждебно относилась к иностранцам. Отношения между «компаньонами» портились и в 1929 г. разразился советско-китайский конфликт, сопровождавшийся даже военными столкновениями между сторонами. Конфликт был улажен заключением Хабаровского соглашения. В этот период многим русским, не проявившим достаточно лояльности по отношению к советским партнерам Дороги, пришлось оставить работу на ней. Часть этих бывших «кавежедеков» переехала на линию и занялась хозяйством, часть устроилась в Харбине, подыскав себе другие занятия, многие выехали на юг или заграницу.

В 1932 г. Маньчжурия была занята японцами, объявившими образование на ее территории марионеточного китайского государства Маньчжуго во главе с императором Пу И.

В 1933 г. начались переговоры о переуступке советской стороной своих прав на Дорогу новому государству. Официально Дорога считалась проданной государству Маньчжуго, фактически же новыми владельцами ее стали японцы. Окончательная передача Дороги состоялась 1 сентября 1935 г. Всю весну и лето этого года наблюдался массовый отъезд русских железнодорожников из Маньчжурии; они не пожелали работать с новыми хозяевами Дороги и предпочли выехать в СССР.

В том же 1935 г. по распоряжению властей было создано для сношения с русским населением Бюро по Делам Российских Эмигрантов, регистрация в котором была объявлена обязательной.

Японцы сразу же приступили к ряду работ на Дороге. В частности они были озабочены увеличением пропускной способности участка Харбин—Чаньчунь, то есть южного направления.

Летом 1945 г., в результате военного поражения Японии, Дорога вновь перешла в совместное советско-китайское управление на всем своем протяжении.

Нормальная эксплуатация Дороги возобновилась в мае 1946 г., после ухода из Маньчжурии советских войск. Дорога была переименована в Китайско-Чань-

чуньскую. Главное управление ее попрежнему оставалось в Харбине.

В 1952 г., согласно принятому Москвой решению, КЧжд была безвозмездно передана в собственность Китайской Республики, хотя до окончания срока концессии оставалось еще примерно 30 лет.

Интересно привести некоторые данные относительно населения Харбина. Так, в «Историческом Обзоре КВжд», т. 1, страница 588, мы находим такую заметку: Согласно докладу Председателя Правления КВжд министру Финансов, от 1917 г., «...В течение 20-летнего периода с начала постройки Кит. Вост. ж. д. на этой территории — (т. е. в Полосе Отчуждения) — образовался целый ряд русских поселений, среди которых один город Харбин насчитывает около 100.000 жителей, в том числе свыше 40 тысяч русских, и образовалось много русских промышленных и торговых предприятий с солидными капиталами.» Если сравнить эти цифры с данными однодневной переписи Городским Советом Харбинского Общественного Управления, произведенной 24 февраля 1913 г., которая зарегистрировала в Харбине и его пригородах в Полосе Отчуждения 68.549 чел. обоего пола, из них 34.313 чел. русских, видно, каким темпом рос Харбин. В более ранний период своей истории, в течение 10 лет перед переписью 1913 г., ежегодный прирост населения Харбина определялся в 3.250 чел.

В 1923 г. население Харбина насчитывало 127.000 человек.

Чтобы дать полное представление о размахе и масштабе деятельности КВжд, с риском повториться, следует отметить, что Дорога не замыкалась в обычные рамки российских железных дорог, предназначенных прежде всего для перевозки пассажиров и грузов: ее функции были значительно шире, так как она проходила по иностранной территории, а это вызывало для нее необходимость и обслуживать самое себя, и руководить жизнью русского населения в Полосе Отчуждения. Отсюда наличие у Дороги ряда побочных предприя-

тий — угольных копей, лесных концессий; при Управлении Дороги был Горный отдел, отдел Судоходства, имевший свою речную флотилию; Гражданское Управление во главе с помощником управляющего «по Гражданской части»; в ведении этого Гражданского Управления был ряд отделов: Земельный, Учебный, Церковный, Врачебно-санитарный и ветеринарно-санитарный, общая и железнодорожная полиция, отдел по сношению с китайскими властями, смешанный суд, печать, метеорологические станции. Деятельность общественных самоуправлений на линии Дороги тоже находилась в ведении Гражданского Управления Дороги и, по существу, последнему принадлежали в Полосе Отчуждения функции, аналогичные губернаторским. Но, конечно, власть Гражданского Управления распространялась только на русское население Полосы Отчуждения.

У Дороги была особая железнодорожная бригада, в составе четырех железнодорожных батальонов, общая численность которых к концу Первой мировой войны была доведена до 12.000 чел. Бригада выделяла сотни своих солдат для обслуживания Дороги в качестве машинистов, помощников машинистов, начальников станций и разъездов, телеграфистов, железнодорожных мастеров, десятников, артельных старост.

Помимо этого, при Управлении Дороги были разумеется все присущие русским железным дорогам службы и необходимые железнодорожные предприятия: депо, мастерские, склады, требующие многочисленного личного состава и необходимого оборудования.

Несколько расширяя тему этого очерка, отметим, что в Харбине был Штаб Заамурского Округа Отдельного Корпуса Пограничной Стражи, Харбинское Общественное Управление, в сотрудничестве с Дорогой, много содействовавшее развитию и украшению Харбина, бюджет которого выражался в сотнях тысяч золотых рублей, дипломатический корпус, отделения крупных иностранных банков, пароходных линий, страховых обществ и большая иностранная колония, установившая

с русскими тесные деловые и теплые личные отношения.

Из этих неполных данных о Китайской Восточной железной дороге все же можно заключить, каким многомиллионным предприятием была Дорога и именно она создала Харбин, вложив в его постройку и благоустройство и на оплату своих служащих сотни миллионов полноценных русских золотых рублей.

Таков был наш Харбин, этот чудесно, сверх всяких нормальных сроков, сохранившийся небольшой, драгоценный осколок русского большого мира.

Фактические данные, цифры, даты и пр., мною заимствованы из следующих источников:

1) «КВжд, 1896 - 1922. Краткий хронологический перечень событий из жизни Дороги за указанное двадцатипятилетие.» Изд. КВжд.

2) Некоторые материалы, любезно предоставленные в свое время в мое распоряжение Н. П. Автономовым.

3) Юбилейный Сборник «Политехник», № 10. Сидней. Австралия.

4) Фотографии из личного архива.

ВСТУПЛЕНИЕ

Харбин большое слово в истории русской эмиграции. Для многих тысяч людей, лишенных родины, он стал домом в те страшные годы, когда рушилось здание Российской Империи и, спасаясь из под его пылающих обломков, они искали себе приюта вне пределов родной страны.

Теперь, оглядываясь назад на ту первую пору нашей эмигрантской жизни, понимаешь, что необычные условия, которые создались в Маньчжурии, та чисто русская атмосфера всего нашего жизненного уклада, которая позволила нам не так мучительно и остро переживать потерю родины, было явлением исключительным: оно находит себе объяснение лишь в силе, стойкости и внутреннем богатстве нашей национальной культуры, позволившей нам создать и на долгие годы сохранить в неприкосновенности русский культурный оазис среди взбаламученного моря чужой страны.

Да, там, на китайской земле нам дано было еще раз воспользоваться крохами былого русского богатства. Материальная база ввиде Китайской Восточной железной дороги, постройка которой русским правительством оживила и обогатила хотя и щедро одаренный природой, но дотоле находившийся в первобытном состоянии край, а также значение и удельный вес, завоеванные русскими в Маньчжурии, их культурный и экономический вклад в ее жизнь, налаженные связи, принадлежавшее им по праву доверие и уважение местного населения, обеспечили нам возможность, не порывая с прошлым, по-старому наладить новую жизнь в те страшные пореволюционные годы.

После крушения Белого Движения, тысячи бойцов, отвоевавших свое в армиях Сибирского Правительства, атамана Семенова, бар. Унгерна, бр. Меркуловых и других, и их семьи хлынули в Маньчжурию и прежде всего в Харбин, пройдя через всевозможные мытарства и осложнения со стороны китайских властей. То было ненормальное, лихорадочное время, закрутившее город в каком-то диком вихре еще не отшумевших политических страстей, время, опаленное огнем гражданской войны, смутное и на первых порах для многих очень тяжелое. Но постепенно жизнь вошла в более или менее нормальное русло и вот люди, забыв о том, что, в сущности, все их благополучие зиждется на песке, начали устраиваться в Маньчжурии всерьез и надолго. Наживали имущество, строили дома, церкви, приюты, богадельни; создавали университеты, гимназии, школы; собирали библиотеки, издавали книги, газеты, журналы; возродили за рубежом русский театр, оперу, оперетту, драму; выделили из своей среды журналистов, писателей, поэтов, артистов, художников; женились и выходили замуж; растили детей в духе старых русских традиций и дали не одно поколение высоко квалифицированных инженеров, врачей, юристов, педагогов, воспитанных русскими профессорами, привившими им русские взгляды и широту русского глубоко человечного и возвышенного подхода к обязанностям своей профессии.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МАНЬЧЖУРИИ

Маньчжурия всегда была средоточием самых разнообразных интересов. Ее неисчерпаемые природные богатства делали ее лакомой добычей и предметом алчных вожделений со всех сторон. Менялись ее господа. Менялись режимы. Много перемен и даже потрясений

пережил этот край. Прошел через много испытаний... Но русское население Маньчжурии все пережило, ко всему сумело приспособиться и в постоянно меняющихся условиях с успехом отвоевывало свое право на жизнь. Оно пережило продажу Дороги, ряд перемен в китайской администрации края, приход японцев, наконец, долгие и тяжелые годы войны. Лишь одно оказалось ему не под силу: приспособиться к режиму коммунизма, который на своем пути несет гибель всему живому.

Несмотря на разочарования, горести и беды последних лет, проведенных нами на маньчжурской земле, многие из нас, бывших «маньчжур», унесли в своем сердце любовь к этой прекрасной, красивой стране. Да и из истории русской эмиграции не вычеркнешь того факта, что в течение долгих лет Маньчжурия была для многих тысяч людей в полном смысле этого слова второй родиной. Как не вспомнить через столько времени изобилие и богатство этого благословенного уголка земли, где природа не только царственно щедра к человеку, но и бесконечно хороша в своей первобытной красоте?

Да, много радостей дала нам, «маньчжурам», чудная природа этого края. Вспомним полноводную, могучую Сунгари, с ее необозримыми разливами, с песчаными отмелями, с далекими заимками, с медленно гаснущими закатами, провожавшими багряно-лиловыми отсветами на тяжелой воде пьяного от солнца, счастливого горожанина, возвращавшегося домой после знойного сунгарийского дня... медлительную красавицу Нонни... быстрый, стремительный Ял, возбуждающе остро-холодный, как шампанское... степные просторы Фуляэрди, зеленые склоны Эхо, покрытые весной кустами пионов, более ароматных и сладостных, чем розы; и, наконец и прежде всего, баримские прогулки, когда чуть приоткрывалась перед нами священная глубина маньчжурской тайги и манила, и звала все дальше и дальше по скользящей вдаль тропинке, где за каждым поворотом открывалась перед очарованным взором все новая, душу захватывавшая красота.

"Поднимемся еще... Вон камень, крытый мохом, над выступом скалы. Мы сядем там вдвоем и будем радость пить одним блаженным вздохом с зеленой бездною... Забудем обо всем! Взгляни, как высоко мы забрались с тобою: стальной полоскою вдали чуть блещет Ял, а дальше, там, где синь слилась с земной чертою, он в грудь зеленых гор вонзился, как кинжал. Как горячи лучи, как крепок запах хвои и терпкий аромат багульника и трав! Какая полнота в сияющем покое, топазов, бирюзы и хризолитов сплав... Потом, когда насквозь пронизанные солнцем, мы спустимся с тобой к прохладе горных струй, и светлый водоем, лазоревым оконцем, блеснет и утолит, как первый поцелуй, быть может мы вспугнем неверными шагами, паденьем из-под ног сорвавшихся камней, козулю, с кроткими и нежными глазами... И золотом сверкнув, нагорных струй вольней, она взнесет туда, к отвесным, диким кручам, свой трепетный испуг и бег — почти полет... И снова тишина. Бежит ручей певучий и день сияющий над сопками плывет."

ОХОТА И ОХОТНИКИ

Для многих горожан чистой воды природа лишь чуть чуть приоткрывала, приподнимала край своей изумрудной мантии. Но в нашей среде были и люди другого склада, люди, отравленные тайгой, ее красотой, ее свободой, влюбленные в нее навсегда и бесповоротно. Это было многочисленное в Маньчжурии племя охотников, которые чувствовали неистребимую потребность время от времени свистнуть свою собаку и одному, или с приятелем, уйти из города в таинственное

таежное царство; чтобы почувствовать на своем лице освежающее дыхание природы, слиться с ней, надышаться вольным, бодрящим воздухом тайги; вымокнуть до нитки и с наслаждением обсушиться у костра; устать до изнеможения и растянуться на теплом кане бедной фанзы китайского зверобоя, а то и прямо на земле, подставляя то один, то другой бок живящему теплу потрескивающих сучьев... Зверски проголодаться и необычайно вкусно, смачно и жадно поесть и, что греха таить, конечно, и выпить... Завязать хорошую мужскую дружбу, выручить товарища в беде, набить дичи и, изнемогая под ее тяжестью, с деланно равнодушным видом, не спеша, возвращаться домой, скажем, по Китайской, как будто не замечая завистливых взглядов встречных прохожих... И прийти домой; и полюбить его по-новому — за его красоту, тепло, уют — и сделать счастливой своим благополучным возвращением свою всегда немного тревожившуюся благоверную супругу!

Наших любителей тайги и природы приходилось встречать и заграницей. Каждый занят своим делом, но вдруг нет-нет да и затоскует по горькому дымку охотницкого костра, по соленой мужской шутке, по своему первейшему другу — верной собаке, по лесной тишине... Он вспомнит осенний, задумчивый листопад, веселую, колючую зимнюю пургу и затоскует, как мы все тоскуем иногда, вспоминая Родину.

Да, многие из старых обитателей Маньчжурии, наших соотечественников, исколесили вдоль и поперек, с ружьем и собакой, ее поля и сопки. Но по глубине проникновения в тайны маньчжурской тайги и ее обитателей, по любви к ней, по длительности полного и счастливого слияния с ее жизнью — вряд ли многие могут быть поставлены рядом с широко известным и за пределами Маньчжурии писателем-охотником, Н. А. Байковым.

Байков много и увлекательно писал о своих охотничьих похождениях. Особенно сильное впечатление производит его повесть «Великий Ван», в которой с глубо-

ким проникновением в психологию прекрасного, свирепого властелина тайги — маньчжурского тигра — с полным знанием жизни звериного царства и его законов, описаны так, как если бы это была жизнь человеческого существа, детство тигренка, полное материнской ласки, игр и шалостей... первые, робкие, самостоятельные шаги... период возмужалости... пора любви... могущество, власть молодого, сильного зверя в лесном таинственном мире и, наконец, гибель его от пули охотника, в великолепном уединении, далеко от людей, на выступе возвышающейся над бездной скалы.

ПОРА И ЧЕСТЬ ЗНАТЬ

Но вот настал момент, когда стало очевидно, что после стольких счастливых лет, проведенных в Маньчжурии, мы там больше не нужны, что нам там больше нет места; когда мы поняли, что нам пора уезжать, вырывать глубоко вросшие в почву корни, разрушать десятилетиями налаженную жизнь, расставаться с друзьями и уходить во вторую эмиграцию, горше первой, ибо для многих она начиналась на склоне лет, когда уже так мало сил и еще меньше надежд и иллюзий.

Когда мы прощались перед отъездом из Маньчжурии, один старый, умный человек со вздохом сказал мне:

— Вы едете в прекрасную страну. Вам будет там хорошо. Вы сможете снова, на новом месте по новому наладить свою жизнь. И все же, как бы счастливо ни удалось вам устроиться за океаном, независимо от вас самой и помимо вашей воли и вашего желания, вы будете первое время мучительно тосковать по тому, с чем сроднились за проведенные здесь долгие годы. Каждая клеточка вашего тела будет томиться по привычным условиям жизни, которые вы покидаете; ваши легкие должны будут приучиться дышать новым воз-

духом, сердце — биться в унисон с новыми для него темпами; глаза — научиться любоваться иной, чуждой для вас красотой. Солнце, ветер, вода... вы не узнаете их, ступив на чужую землю и, подняв свой взор к ночному небу, вы не найдете на нем с детства знакомых созвездий, привычных спутников нашей жизни... А оставшись вечером в своей одинокой комнате, вы перестанете узнавать самое себя и со страхом будете вглядываться в свое изображение в темном зеркале, спрашивая себя — вы ли это, или же кто-то другой, неизвестный вам, смотрит на вас из загадочной глубины странно печальными, отсутствующими глазами? Звук чуждой вам речи, незнакомые напевы, непривычные формы и условия жизни — ко всему этому вам надо будет привыкнуть и сделать своим. Это не всегда легко и только время поможет вам. Но через это проходят все...

Как мы там жили

Главное, что определило наш быт по приезде в Харбин был тот факт, что Харбин говорил по-русски; по-русски говорила линия КВжд; в школах, гимназиях, в университетах — преподавание шло на русском языке. Газеты, журналы, книги издавались по-русски. Русскими были названия улиц; над магазинами красовались русские вывески. Даже китайцы, с которыми нам приходилось иметь дело, заговорили по-русски, избавив нас от необходимости учить китайский язык. Вот почему «маньчжуры» так выгодно отличаются от эмигрантов, попавших в другие страны, дети и внуки которых большей частью по-русски уже не говорят, не понимая, что, не сумев сохранить своего языка, они навсегда потеряли тот золотой ключ, который помог бы им отомкнуть драгоценный ларец русской культуры.

Вместе с языком мы принесли с собой в Маньчжу-

рию все особенности своих традиций, своего привычного, еще не обезличенного, повседневного быта. Назовем его «мещанским», если хотите, но не будем бояться слов. Разве с детства любимые нами обычаи и формы жизни, унаследованные от наших отцов и дедов, не скрашивают однообразного чередования ничем не отмеченных будней, разве они не помогают нам поддерживать живую связь с нашим «русским» прошлым, о котором многие из нас не могут забыть, даже прожив долгие годы вдали от родины?

Кроме языка, мы нашли в Маньчжурии привычные для нас климатические условия. Сезоны чередовались в нормальном для нас порядке, сразу вводя быт в привычные рамки, и каждый имел свои характерные особенности и приносил свои радости и удовольствия. Если зима, так уж зима, с веселым морозом, с поскрипывающим под ногами снежком или слепящим глаза и оседающим искрящимися под солнцем сугробами снежным вихрем; если весна, то уж со всей полнотой радостного пробуждения природы, с звонкими ручьями, с легким облаком зеленеющих садов, в тонком аромате ландышей, в буйном цветении сирени, незаметно, переходящая в торжествующе-солнечное, яркое, сине-золотое лето. И, наконец, осень, когда завершается круг плодоносящей земли и в холодеющем воздухе, в причудливой окраске томно гаснущих закатов, в меркнущей дали бледнеющего неба душе открывается тайная прелесть отрешения и конца.

РУССКИЕ ХРАМЫ

Другой особенностью русской эмиграции в Маньчжурии была ее прочная связь с Православной церковью. Это в равной мере относится и к основной массе русского населения Маньчжурии, обосновавшегося там еще до революции, в порядке мирного освоения края,

и к новым пришельцам, эмигрантам. Если первые храмы на маньчжурской земле строило старое русское правительство в лице КВжд, то эмиграция со своей стороны, на добровольные пожертвования, без всяких ссуд и субсидий, дала ряд прекрасных образцов высокоталантливого церковного зодчества. Аналогичное явление, как известно, наблюдается и в Соединенных Штатах, где все русские центры, даже сравнительно незначительные, украшены православными церквами, пусть зачастую очень скромными, и в Австралии, в которой православная епархия, во главе с правящим Владыкой, представляет собой объединяющую, добрую силу в жизни русской эмиграции в этой стране.

Поэтому мне хочется остановиться несколько подробнее на истории церковного строительства в Маньчжурии, главным образом в Харбине, и поговорить о любимых храмах, сохранившихся теперь только в наших воспоминаниях.

Первые православные церкви в Маньчжурии строила КВжд, т. е. русское правительство. В 1898 г., когда началась постройка дороги, с первым эшелоном охранной стражи прибыли также и священники и устроили в одном из бараков Старого Харбина первую русскую церковь на маньчжурской земле. Она существовала до самого последнего времени и, несомненно, разделила общую судьбу православных храмов в Китае.

Упомянем тут, что за период с 1901-го по 1903-й год КВжд были построены по одному типу — площадью в 105 кв. саж., — церковные здания на всех больших станциях дороги. Указом Св. Синода от 29-го мая 1903 г. полоса отчуждения КВжд была подчинена в духовном отношении Начальнику Российской Духовной Миссии — во главе в то время с митрополитом Иннокентием Пекинским. Указом Св. Синода от 12-го июля 1907-го года церкви полосы отчуждения КВжд были причислены к Владивостокской Епархии, а 29-го марта 1922-го г. распоряжением высшего церковного управления заграницей была образована самостоятельная Харбинская Епархия во главе с архиепископом Орен-

бургским и Тургайским Мефодием, возведенным в сан митрополита Харбинского и Маньчжурского.

В 1931-ом году, когда фактически русское церковное строительство в Маньчжурии было закончено, Харбинская Епархия имела 46 церквей, около 460 священнослужителей, епархиальный дом-убежище имени митрополита Мефодия и при всех приходах братства и сестричества, следившие за благолепием храмов и помогавшие бедноте.

Украшением Харбина был Кафедральный Свято-Николаевский Собор, воздвигнутый в Новом Городе на Соборной Площади. Он был заложен в 1899 г. как Свято-Николаевская церковь и лишь в 1922 г. переименован в Кафедральный Собор.

Планы и чертежи для постройки были присланы из Петербурга. Церковь строилась в так наз. «вологодском» стиле специальными русскими артелями. Она была закончена в декабре 1900 г. и вскоре была освящена, с разрешения Протопресвитера Военного и Морского Духовенства. Если последовательно назвать имена церковных старост Собора, то перед нами встанет вся картина возникновения и роста Харбина в лице его государственных и общественных деятелей, в разные эпохи олицетворявших собой русское начало в Маньчжурии: князь С. Н. Хилков — самодержавная Россия; ген. Д. Л. Хорват — переходное время, когда престиж старой России еще позволял поддерживать авторитет русского имени; инж. Б. В. Остроумов — взлет перед началом конца; Н. В. Каншин — почтенный русский интеллигент, но уже частное лицо, исключительно в силу личных качеств игравший роль в жизни Собора.

Как хорош был наш красавец Собор! Как радовал глаз пропорциональностью своих линий. Деревянный — снаружи бревенчатый, внутри резной — он был полон мерцания свечей, сияния лампад. То погруженный в таинственный полумрак, то в торжественные моменты богослужения вспыхивающий радостными огнями своих хрустальных люстр, он был подлинным домом молитвы, и в радости, и в печали.

Как празднично в солнечные дни сквозили цветные стекла его боковых стрельчатых окон зелеными и красными огнями, кладя цветные, удлиненные трапеции на его желтый, паркетный пол! Благоуханный ладан возносился к высокому куполу. Полновесно, покрывая раскаты лучшего в городе хора под управлением регента Попова, звучал необычайный по красоте звука бас протодиакона Овчинкина, и чередуясь с ним, рвался ввысь чудесный тенор Коростелева, Сенички, как его не очень почтительно, но с большой любовью называл весь Харбин. А за всенощной особенно проникновенно смотрели прямо в душу глаза св. Николая с глубоко чтимой всеми иконы прекрасного письма в правом притворе храма... Сколько счастливых молодых пар получили в Соборе благословение на новую жизнь; сколько дорогих ушедших было отпето под его высокими сводами; сколько поклонов положено перед его иконами!

Вспоминается торжественная пасхальная заутреня в харбинском Соборе, когда праздничная толпа заполняла не только самый храм, но и его обширный двор, так что служили не только внутри, но одновременно и снаружи, с высокого главного крыльца. И та же толпа, и те же русские лица, и те же свечи, и те же молитвы и песнопения — во всех многочисленных православных храмах в Светлую ночь на широких просторах маньчжурской земли!

Весной в ограде Собора бурно цвела сирень. На широкой паперти толпился нищий люд, ему подавали от харбинских щедрот... Желтел песок дорожек, по нему качались, мелькали тени колеблющихся на ветру ветвей, и трудно было поверить, что этот прекрасный русский храм, и эти русские люди, осеняющие себя крестным знамением, склоняющиеся перед иконами, покупающие желтые, липнущие к рукам ароматные восковые свечи у благообразных монашенок, чинно стоящих за высокими свечными ящиками, что все это находится не в каком-нибудь привольном русском городе у

широкой реки, а воскрешает древнюю Русь под чужим небом и на чужой земле.

Позднее в ограде Собора была построена Иверская часовня — копия Московской Иверской, с прекрасной иконой Иверской Божьей Матери. Часовня эта стала одной из самых чтимых харбинских святынь.

Другой старейшей и любимой церковью Харбина была военная Св. Иверская Церковь, расположенная на Офицерской улице, недалеко от вокзала. В 1907 году возникла потребность иметь церковь для войск Заамурского Округа Пограничной Стражи. Деньги на постройку храма, в сумме 32.000 руб., были взяты из средств Старо-харбинской церкви. В этом же году состоялась закладка церкви. Иконостас был сделан на месте, из орехового дерева, солдатами-резчиками, по плану инж. Денисова; 32 иконостасных иконы и 4 киотных были заказаны в г. Чернигове в мастерской Киашко Зинковича.

Постройка Свято-Иверского храма была закончена в 1908 г. С благословения Евсевия, архиепископа Владивостокского и Камчатского, церковь была освящена малым освящением. В 1915 г., когда войска Охранной стражи ушли на германский фронт, их заменили дружины и ктитором Иверской церкви был назначен командир 559-ой Самарской Дружины, полк. Н. С. Плонский. Тогда же настоятель храма, свящ. Брадучан, предложил полк. Плонскому расписать храм живописью. В его дружине был художник, кап. Вл. А. Михайлов, живописец-ратник Зимин и другие. Их трудами и талантами, храм был украшен прекрасной росписью. На внутренних арках храма были начертаны золотом имена офицеров и солдат-заамурцев, погибших во время русско-японской войны.

Первым настоятелем Св. Иверской церкви, с 1908 по 1923 г., был священник, а потом протоиерей, о. Брадучан, занимавший должность Благочинного Округа.

Как будто сухая справка, цифры, даты... А за всем этим мы, русские харбинцы, видим живые черты живых людей, вспоминаем многое личное, дорогое, что было

связано с этим прекрасным русским храмом. О. Брадучан, большого роста, с грубоватым лицом под седыми волосами, был старым военным священником. Он также преподавал Закон Божий в Харбинских Коммерческих Училищах. В. А. Михайлова я лично помню уже в преклонных годах. Это был человек исключительно милый, веселый, общительный. Прах его был отпет под сводами того храма, который он расписывал собственной рукой в молодые годы.

Последнее время в Иверской церкви пел хор талантливого регента Распопова. Этот храм особенно охотно посещался русскими, так как там служил русский священник, тогда как в большинстве православных храмов в последние годы служили уже китайцы.

При Иверской церкви архиепископом Димитрием была создана благотворительная Серафимовская столовая. В ограде храма, как я теперь вспоминаю, покоился прах одного из героев Белого движения, ген. Каппеля.

На Водопроводной ул., в самом центре Пристани, высился величественный храм Св. Софии Премудрости Божией. Его огромный, тяжелый купол возвышался над городской суетой и сутолокой как контраст, или напоминание, или, быть может — предупреждение?

Софийская церковь была построена в 1907 г. стараниями и трудами Коммерции Советника И. Ф. Чистякова и его жены. Вначале церковь была деревянная, фаршированная. В 1912 г. был сделан капитальный ремонт. В 1922 г. возникла мысль построить новый каменный храм. Постройка началась в 1923 г. и была закончена в 1932 г. Новый трехпридельный храм, осененный величественным византийским куполом, занимал общую площадь в 158 кв. сажень и считался одним из красивейших храмов Дальнего Востока. С Софийским храмом связано имя одного из самых известных в Харбине священнослужителей, о. протоиерея Филологова, который много лет был его настоятелем и немало потрудился над его созданием и украшением. Прах о. Филологова покоился в склепе, устроенном в самом хра-

ме близ правого притвора. При Софийском храме работало Русское похоронное бюро.

Наш последний харбинский сочельник мы отстояли именно в этом храме, слушая тихий голос просто, но проникновенно служившего о. Синяго, прощаясь с прошлым, думая о будущем, на пороге которого мы тогда уже стояли.

Одной из первых харбинских церквей была Благовещенская церковь на Полицейской ул., на Пристани, построенная в 1903 г. В 1918 г. она сгорела дотла и лишь чудесно уцелела икона Благовещения Пресвятой Богородицы. Храм этот был подворьем Пекинской Духовной Миссии в Харбине. Сгоревший храм был восстановлен в 1919 г., однако, при большом числе русского населения он оказался недостаточно вместительным и в 1929 г. совет кружка ревнителей церковного благолепия получает благословение к сооружению нового каменного храма. Летом 1930 г. план постройки был утвержден Харбинской Городской Управой и в сентябре того же года состоялось торжество закладки в присутствии многочисленных верующих.

Проект храма был составлен инж. Б. М. Тустановским. Внутри церковь отличалась особенно нарядным иконостасом, белым с золотом, и считалась самой обширной из всех харбинских православных церквей. Последнее время в ней пел хор под управлением Федотова.

Мощные удары полнозвучных колоколов Благовещенского храма далеко неслись и расплывались над многоводной Сунгари; особенно радовал сердце малиновый перезвон в весенние пасхальные дни... В день Крещенья обычно отсюда мы выходили крестным ходом, чтобы присоединиться к таким же ходам из других харбинских церквей, чинно следовавшим на Сунгари на торжество водосвятия.

Блистали тусклым золотом и серебром, пестрели шелками, кланялись и покачивались многочисленные хоругви; женщины несли иконы на вышитых полотенцах; во главе тысячной толпы шел правящий Влады-

ка, в сопровождении духовенства; звучало относимое ветром и расплывавшееся в крепком морозном воздухе пение хора. По широким деревянным лестницам спускались к реке. С боков, справа и слева, торопясь, стекала вниз человеческая волна. Шли женщины с четвертями для освященной воды, одетые основательно, в валенках и теплых платках. Шли колонковые и норковые шубки; легкие сапожки скользили по запорошенному снежком льду. Шныряли бойкие мальчуганы, размахивая бутылочками на веревочках; катила по боковым, разметенным дорожкам солидная публика, упрятав ноги в меховые одеяла, на так-называемых «толкай-толкай» — широких санях, приводимых в движение при помощи длинного шеста, которым ловко орудовал стоящий «на запятках» китаец «толкайка». Вдали виднелся сооружаемый из года в год, голубеющий на снежном фоне ледяной крест; над ним, сверкая на солнце белоснежными крыльями, реяла стая голубей. Служили молебен с водосвятием и теснившаяся поближе к купели толпа торопилась набрать в самые разнообразные сосуды освященной водицы. В сторонке, блюдя русский обычай, купались в Иорданской купели верующие всех возрастов, начиная с почтенных старцев и кончая бойкими подростками, которые выскакивали из ледяной воды дрожащие, но веселые и довольные, чтобы сразу попасть в заботливые и «теплые» объятия своих старших не без одобрения наблюдавших за их подвигом.

В Затоне, излюбленном месте летнего отдыха харбинцев, по ту сторону многоводной Сунгари, тоже была своя Свято-Николаевская церковь. Она была основана в 1923 г. и сначала помещалась в затонской школе. В 1925 г. было куплено два фаршированных здания, куда церковь была временно перенесена до тех пор, пока не была закончена постройка каменного церковного здания.

Церковь эта осталась в воспоминании как «летняя», вся пронизанная солнцем и светом, в веселый Троицын день украшенная березками и благоухающими цветами, так как бывать в ней приходилось главным обра-

зом в летние месяцы во время выезда на сунгарийскую дачу.

Позднее, когда мы уже покинули Харбин, нам писали, что новые дамбы, устроенные для защиты Харбина от наводнений, намеренно были расположены так, чтобы затонская церковь осталась в стороне от них, так что, вероятно, ее уже давно не существует: она медленно разрушалась ибо периодически затоплялась, а, вернее всего, была просто снесена за ненадобностью, чтобы освободить площадь.

Особое место среди харбинских храмов занимала скромная церковка на Новом Кладбище, сооруженная в 1908 г. При постройке Дороги, в самом начале распланирования Нового Города, на Большом проспекте было открыто кладбище, которое позднее стало называться «Старым». Расширение этого кладбища было впоследствии признано неудобным, так как оно приходилось в самом центре разросшегося и продолжавшего расти города. Поэтому под кладбище было отведено новое место — для всех вероисповеданий — далеко в то время за городской чертой, в конце длинного, пыльного шоссе, которое было продолжением Большого проспекта, лучшей улицы Нового Города, другим концом упиравшегося в великолепные огромные корпуса Управления КВжд. Новое кладбище было открыто в июне 1902 г. и было названо «Успенским».

После открытия Нового Кладбища на Старом можно было хоронить только каждый раз с особого разрешения. На нем, под сенью Св. Покровской Церкви, покоились старожилы Харбина, пионеры русского влияния в крае, строители КВжд.

Когда мы приехали в Харбин, Новое кладбище было расположено далеко за городом; к нему вело пустынное и пыльное шоссе, по которому тянулись груженые камнем, песком и углем ломовые подводы, под щелканье бичей китайских возниц. С приходом японцев, то есть с 1932 г., по сторонам шоссе начали вырастать однообразные, скучные казенные корпуса со стандартными квартирами для государственных служащих и

то, что казалось раньше далеко в стороне, приблизилось к городу и стало в сущности его продолжением.

На Новом кладбище в 1920 г. была начата и вскоре закончена постройка высокой каменной ограды, которая раньше отсутствовала из-за недостатка средств, что помогло придать кладбищу благоустроенный и благолепный вид.

В 1923 г. был произведен капитальный ремонт кладбищенской церкви и выполнены живописные работы внутри в куполе, а также на стенах церкви. К этому времени уже был назначен постоянный причт и смотритель кладбища и оно приняло тот вид, в котором сохранилось у нас в памяти.

Приближаясь к Новому кладбищу со стороны Нового Города, уже издалека можно было видеть высокую колокольню над входом, около которой предприимчивые китайцы продавали венки и кресты из хвои, украшенные иммортелями, а летом живые цветы и рассаду. Тут же рабочие, в сущности — полунищие, и русские, и китайцы, с ведерками, лопатками, лейками, предлагали свои услуги: «Посыпать песочком, подравнять, полить...»

Вступив в ворота и оставляя слева, несколько в глубине, кладбищенскую контору, а справа жилые дома причта, проходили в широкую, тенистую аллею, упиравшуюся в кладбищенский храм и обходившую его с двух сторон, храм с низкими крылечками и лазоревым куполком-луковицей, высоко возносившим свой крест над этим городом мертвых. Вдоль аллеи по обеим сторонам стояли скамейки. Старые плакучие ивы осеняли ее своей бледной, печальной листвой... На желтый песок, трепеща и перебегая, ложились легкие тени... По большим праздникам здесь текла сплошная толпа и, огибая церковь, растекалась по боковым аллеям. По сторонам выстраивались нищенки, просили подаяния. Стояли монашенки с кружками, собирая доброхотную дань на свои обители. На скамейках сидели заплаканные женщины, спустив на лицо черные вуали. В Родительский день, когда кладбище посещали тысячи лю-

дей, так что с городом налаживалось специальное автобусное сообщение, здесь служили вселенскую панихиду. Возгласы архиерейского хора сливались с тишиной и улетали как синий ладанный дым в бледное, весеннее небо.

В простые дни на кладбище было тихо и уединенно. Только свернешь в одну из боковых аллей, тополевую или акациевую, как в душу входила печаль и, казалось, поглощало тебя всего без остатка какое-то бездонное молчанье, сосредоточенная, беспредельная тишина, растворявшая все звуки и сливавшаяся с тишиной бескрайного неба. То справа, то слева слабо доносились заглушенные звуки панихид, обрывки церковного пения; виднелись, сквозь деревья, склоненные безмолвные фигуры.. У каждого, приходившего сюда, была своя проторенная дорожка, своя знакомая, горестная тропинка, ведущая к молчаливому камню за легкой узорной оградой. Черный и серый гранит оживляли яркие пятна цветов; могилы были обметены, прибраны, нередко украшены ковровым узором; тут и там теплились неугасимые лампадки. Город мертвых был тесно связан с городом живых и его никогда не оставляли без заботы и попечения. А близ церкви невольно останавливал на себе внимание скучный, обнесенный оградой квадрат, где вытянулись ряды однообразных, как один, надгробных камней без крестов над могилами русских воинов, погибших в Маньчжурии в 1945 г., могилами людей, насильно лишенных Бога!

Был еще в свое время в Харбине так называемый «Русский Дом», приют, где под руководством кап. К. Подольского воспитывались русские мальчики и девочки. При нем была скромная, но благолепная, Св. Иоанно-Богословская домовая церковь. «Русский Дом» находился довольно далеко от городского центра — в Славянском Городке, на Искровом Бульваре.

В 1909 г. при Харбинских Железнодорожных Коммерческих Училищах, образцового учебного заведения, которым Харбин мог по праву гордиться, была основана Свято-Алексеевская домовая церковь, обширная,

благолепная, где обычно, в лучшие времена, встречалось на торжественной Пасхальной Заутрене харбинское общество. В 1925 г. церковь была перенесена в Торговые ряды на Зеленом Базаре, так как при изменившейся общей обстановке собственная церковь при Училищах была признана ненужной.

Особого упоминания требует построенный в 1925 году, с благословения высокочтимого в Харбине архиепископа Нестора, Скорбященский храм. При храме, находившемся в Модягоу, был устроен приют для девочек и престарелых женщин, известный как «Дом Милосердия», и имелась собственная иконописная мастерская.

Перечислять все созданные русскими православными людьми храмы в Харбине и на линии не представляется возможным, да и вряд ли нужно здесь, но уже сказанного достаточно, чтобы составить себе представление о верности русского населения Маньчжурии своим исконным церковным традициям и о широкой благотворительной деятельности православного духовенства, при активной поддержке русской общественности.

Особо хочется все же упомянуть о Казанско-Богородицком Мужском Общежительном Монастыре в Гондатьевке, в Новом Модягоу, на участке, отведенном Земельным Отделом ОРВП. Закладку храма, посвященного Казанской Божьей Матери, совершил архиепископ Мефодий. Постройка была начата и закончена в 1924 году, а в течение следующего года был возведен каменный братский корпус для монастырской братии.

Монастырь жил деятельной, трудовой жизнью, постепенно разрастаясь и, как это исстари велось на Руси, начиная играть заметную роль в культурном развитии своего города. Первоначально скромная монастырская типография вскоре обзавелась второй печатной машиной с электромоторами. Была открыта монастырская аптека и амбулатория. Началась постройка больницы, законченная, насколько мне известно, к зиме 1932 г. Монастырь, кроме типографии, завел еще ряд мастер-

ских: переплетную, сапожную, портняжную, слесарно-столярную и живописно-иконописную. Рядом с монастырем была приобретена заимка в 220 кв. саж., на которой был сооружен домик для братии и часть монастырских построек и помещений для монастырского скота. Настоятелем монастыря был высокочтимый архиепископ Ювеналий.

Удаленность монастыря от городского шума, царившие в нем мир и тишина, спокойная, неторопливо текущая жизнь и ощущение, что здесь, без шумихи и рекламы, делается большое и доброе дело, лучше всяких слов говорило о том, что в житейском водовороте, увлекающем и порабощающем людей, существование вот таких оазисов благочестия и труда нужно им и отвечает какой-то глубокой потребности человеческой души.

Была в Харбине и Женская Обитель, основанная игуменьей Руфиной. Начав очень скромно, она постепенно расширилась, в 1927 г. перешла в просторное помещение на Почтовой улице, которое позднее выкупила — и все это на доброхотные даяния верующих.

НАШ БЫТ

Сохранив русскую церковь на чужой земле и чтя ее праздники и обряды, мы, естественно, жили в Харбине по старому календарю. Рождество праздновали до старого Нового Года и начиналось оно с появлением на небе Вифлеемской звезды и первого удара церковного колокола, зовущего православных встретить праздник по-христиански, благочестивой молитвой.

Задолго до Рождества на харбинских базарах вырастал целый лес ёлок на всякие цены и невозможно было представить себе Сочельника без трепетных огоньков разноцветных ёлочных свечей, вокруг кото-

рых привычно собиралась в этот вечер родная семья.

Тут стоит упомянуть о том, что в Харбине семьи были крепкие, дружные. То тяжелое одиночество, которое в наше время является обычной трагедией старых людей, даже если у них есть взрослые дети, у нас проблемой не было. В тесном семейном кругу, под одной крышей, уживались и старые, и молодые. Нередко бывало, что представители трех и даже четырех поколений жили одной большой семьей, не мешая друг другу, и внося каждое что-то свое, какую-то свою ноту в общий аккорд. Старости мы не отказывали ни в любви, ни в уважении, а стариков не считали досадным бременем, которое нужно было как можно скорее куда-нибудь «пристроить». Конечно, как и везде, и в Харбине были одинокие, старые и беспомощные люди, но у нас была широко поставлена церковная и общественная благотворительность, приходившая им на помощь.

Главным праздником у нас считалась Пасха. Соблюдая православный обычай, многие постились все семь недель Великого Поста, или хотя бы два раза в неделю, по средам и пятницам. Многие говели, и отстоять в Страстной Четверг, не присаживаясь, все Двенадцать Евангелий, а в Страстную Пятницу пойти на вынос Плащаницы, считала для себя обязательным даже беззаботная молодежь, не особенно строго придерживавшаяся церковных канонов.

> "Протяжный, мерный звон, лампады, тишина... Здесь к тайне сладостной готовят наши души, а жизни дерзкий шум здесь сдержанней и глуше, и суета ее соблазна лишена. Но выйдешь — как небес безмерна вышина! О, как легко весне оковы чувств разрушить! Слова молитв звучат все отдаленней, суше, я снова счастлива, беспечна и грешна... И вновь обновлена земли воскресшей сага, а сердце, как бокал, где, разные в одном, бессмертия нектар, божественная влага, и юности хмельной пьянящее вино. Так сквозь мельканье

струй кипучего потока мы видим дно его спокойное глубоко".

Особую прелесть сохранили в воспоминаниях кулинарные подробности приготовления к Пасхе. Боже, сколько было радостных хлопот, волнений! Помимо, быть может, несколько суетного побуждения сделать все «как следует», «не хуже, чем у людей», в них было столько теплой заботы о близких, такое желание порадовать, побаловать их, а также угостить на славу друзей и создать в доме приподнятую, праздничную атмосферу!

В каждой семье в центре внимания были куличи. Редко кто заказывал их в кондитерских. Вся прелесть была в том, чтобы они были выпечены дома, по старым, чуть ли не бабушкиным рецептам.

Сначала запасалась лучшая в городе белоснежная сонхошиновская мука какого-то особого размола; конечно, яйца, сахар, цукаты, изюм и различные специи, как ваниль и кардамон. Заказывались специальные дрожжи, или ввиде кубиков, или жидкие. Появлялись на божий свет старые железные формы, целый год лежавшие без употребления. Они тщательно мылись и обкладывались изнутри листами промасленного пергамента. Тесто месили в больших глиняных макотрах: тут призывалась на помощь грубая мужская сила. Месили долго, до тех пор, пока душистая, густая масса не начинала отставать от рук месившего. Все с интересом наблюдали за этим процессом, охотно давали советы. Потом тесто раскладывалось по формам и оставлялось «подходить». В этом слове «подходить» был какой-то таинственный смысл, ибо тесто вело себя странно и капризно. Так, если громко хлопнуть дверью, оно могло «сесть», или «шлепнуться»; ночью его почему-то всегда проверяли, в случае надобности подмешивали и перемешивали, или совершали над ним еще какую-нибудь, видимо, необходимую манипуляцию, смысл которой навсегда остался непонятным для непосвященных. А тесто между тем жило какой-то своей особой, скры-

той даже от хозяйки, загадочной жизнью: то оно «сидело», как каменное, не шевелясь; то начинало бурно подыматься, путая все расчеты... Когда же, наконец, наставало время сажать формы в печь — тут самыми надежными и лучшими считались так наз. «русские печи» — начинались новые волнения: тесто могло подгореть, могло дать закал, вылезти из формы и перевалившись через край повиснуть сбоку безобразным наростом; наконец — а это считалось плохой приметой — у кулича могла провалиться середина; грозила также опасность недопечь или перепечь. И вынимали куличи из форм с особыми церемониями, осторожно вытряхивая на пуховые подушки, чтобы они, не дай Бог, как-нибудь не смялись и «отдохнули»... В результате всех этих хлопот и забот на столах и на подоконниках выстраивался ряд стройных, золотистых, больших и маленьких куличей, в числе их пробные малыши, «поскребыши», которые дружно разъедались до Праздника. Из белков, сахарной пудры и лимона стиралась белоснежная глазурь, которой обмазывались крышки куличей и, наконец, они украшались бумажными или восковыми цветами или сахарными барашками, имевшими почему-то всегда удивительно глупую мордочку.

В некоторых домах куличи выпекались в несколько приемов и в таком количестве, что их, по традиции, рассылали одиноким знакомым, не имевшим собственного налаженного хозяйства, инвалидам, приютам, больницам и все же самой семье их хватало чуть ли не до Троицы!

Приготовление Пасхи тоже требовало много труда. Для сырной Пасхи заранее заказывался сливочный творог без малейшей кислинки. Его протирали два раза через мелкое сито, деревянной ложкой. Одновременно, добровольные сотрудники терли и терли чуть ли не до белизны желтки с сахаром, а также растирали сливочное масло до тех пор, пока оно не становилось мягким и податливым, как густая сметана. Затем все эти составные части тщательно перемешивались, прибавлялась ваниль, иногда цукаты; озабоченно совещались,

довольно ли сахара — все с удовольствием пробовали.

Деревянные, складные формы для Пасхи доставали заранее, тщательно мыли и сушили. Изнутри они аккуратно выкладывались мягкими смытыми кусками белой материи, обильно смоченными в воде, так, чтобы не было ни одной складочки. Наполненные пасочницы ставились на холод, с каким-нибудь сверху грузом, чтобы «стекало». В результате всех этих трудов на пасхальном столе на почетном месте красовалась аппетитная пирамида нежно-кремового цвета, украшенная с одной стороны выпуклыми буквами «Х. В.», а с другой крестом.

Кроме традиционной сырной пасхи, приготовление которой я только что описала, были и другие — заварная, пасха из топленого молока, темно-золотая, похожая на крем; шоколадная, фисташковая, пасха с цукатами и без цукатов, одна другой вкуснее и соблазнительней.

Прибавьте к этому яркие, веселые, как сама весна, пасхальные яйца. Когда-то в детстве мы красили их кисточками особыми цветными лаками... В Харбине лаки были заменены анилиновыми красками, но тоже выходило красиво, особенно если протереть каждое яичко маслом, или смазать белком. Были и так называемые «писанки» часто с большим вкусом расписанные от руки. Никогда обыкновенные куриные яйца, сваренные вкрутую, не казались такими исключительно вкусными, как на розговенах, особенно в сочетании с килькой или ветчиной запеченного в тесте окорока.

Во многих домах в пасхальные дни обычный хлеб, который в те годы являлся непременной принадлежностью стола, совершенно изгонялся и все — закуски, телятину, дичь — ели с куличами.

Не буду описывать пасхального стола. Кулич, пасха и крашеные яйца были на нем всегда; остальное зависело от средств и возможностей каждой семьи. Здесь были и бледно-розовые окорока, украшенные завитками бумажной бахромы, и поросята, и всевозможные рулеты и паштеты, дичь, мазурки, торты и баумкухены

и, конечно, самые разнообразные вина. А если к этому прибавить парадную скатерть, цветы и нарядную сервировку, то такой стол был подлинным произведением искусства, апофеозом земных радостей и славословием земного благополучия.

Первый день Пасхи был в Харбине настоящим веселым и беззаботным праздником. По старому обычаю дамы оставались дома, а мужчины отправлялись с визитами — у некоторых их было до двадцати или тридцати. Нарядные хозяйки, забыв о понесенных, трудах, охотно христосовались с бесконечными визитерами, которые напоследок, уже к вечеру, оставляли дома, где или особенно хорошо можно было закусить, или были самые интересные дамы и барышни.

Рожденье было по преимуществу детским праздником. Взрослые отмечали свой день Ангела, опять-таки по православному календарю. Были праздники особо чтимых святых, как Св. Николай, зимний и майский, Св. Владимир, декабрьская Екатерина, осенняя Елизавета. В эти дни друзья приходили поздравить без особого приглашения, из года в год. Это превратилось уже в традицию. Помню майскую Ирину, когда в дом входила весна и он наполнялся благоуханием ландышей и сирени. Помню Софью, Веру, Надежду, Любовь, когда кондитерские и цветочные магазины Харбина буквально опустошались и редко у кого в этот день не было именинницы; и, конечно, день Св. Татьяны, покровительницы Московского Университета и, по традиции, праздник русской профессуры, студенчества и вообще русской интеллигенции.

РУССКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Отсюда легко перейти к одной особенности русского быта, которая сохранилась и в эмиграции — к русскому гостеприимству. По сравнению с нашей теперешней жизнью в городах-гигантах, где расстояния изме-

нили привычные проявления радушия, свойственные россиянам, оно приняло у нас в Харбине несколько провинциальную форму. Обычная фраза — «Заходите запросто» исключала необходимость заранее специально сговариваться и назначать определенный день для посещения знакомых и друзей, и в то же время облегчала задачу хозяйки дома, позволяя ей принять гостя без особых церемоний. В Харбине было поэтому принято — особенно среди холостой молодежи — заглянуть «на огонек». В Новом Городе, в той его части, где на широких, утопающих в зелени улицах беспечально коротали свои дни железнодорожные служащие, летом, по вечерам, на застекленных верандах вспыхивали желтые абажуры; нередко чаепитие, перед отходом ко сну, происходило в садике около дома, куда выносился стол и неизбежный самовар. Слышались знакомые, веселые голоса; раздавались заглушенные аккорды гитары; из открытых окон доносились звуки рояля. Трудно было, проходя мимо, не завернуть на минутку и тут уж, конечно, ни одна хозяйка не отпускала случайного гостя голодным, не попотчевав его «чем Бог послал». Зачастую угощение было самое скромное: холодный, прямо с погреба, варенец в глиняных горшочках, никогда не надоедавшая яичница-глазунья, или «вульгарная», но такая вкусная, особенно если с чесночком, чайная колбаса и, конечно, чай с разнообразным вареньем в неограниченном количестве.

ЖИЗНЬ МОЛОДЕЖИ. РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Интересы эмигрантской молодежи в Харбине были очень разнообразны. Увлекались стихами, театром, много читали, вели политические споры. Но уже с молодых лет на многих из нас ложилась ответственность за материальное благополучие семьи. Мы должны были работать, так что служба в нашей жизни играла боль-

шую роль. Устроиться было нелегко: сначала по молодости лет и отсутствию опыта, позже — в условиях временами резко усиливавшейся конкуренции, так что службой мы дорожили и трудились добросовестно и охотно. Многие совмещали службу с ученьем: кто слушал лекции в одном из высших или специальных учебных заведений города, кто пел, кто музицировал. Нас не знакомили с детского возраста с так наз. «фактами жизни». Мы жили интересами, свойственными нашему возрасту. Бегали на коньках, играли в теннис.

> "Конец томительному лету, опять зима, опять каток, и смертоносную ракету сменил стремительный конек. Огни струятся, сталь сверкает, и синий лед, и белый снег... И вальс томительный вплетает свой плавный ритм в наш вольный бег. За синей птицей, в вечер синий, помчимся вместе, милый друг, следя узор бегущих линий и сжав тесней сплетенье рук и веря, в странном опьяненьи, что в этот час она и мы одно скользящее виденье к звезде летящее из тьмы."

Мы любили время от времени собираться друг у друга на веселые вечеринки, устраивали летом пикники, иной раз забираясь большой компанией, в лунную ночь, далеко на Зотовскую протоку, или в жаркий летний день располагаясь лагерем на песках Крестовского острова, купаясь, закусывая, болтая, сочиняя шуточные стихи.

В период совместного управления КВжд Китаем и Советским Союзом в Харбин из Москвы была привезена первоклассная оперная труппа. Дорога не скупилась на затраты и оперные спектакли ставились со столичным размахом, в прекрасных, специально написанных декорациях, с большим хором и оркестром, с художественно задуманными и отлично исполненными балетными дивертисментами. Железнодорожные служащие получали билеты на льготных условиях, так что мы, в

своем «медвежьем углу», имели возможность слушать певцов, которые впоследствии прославились и составили себе имя. Нередко в Харбин на гастроли приезжали знаменитые артисты — певцы, музыканты, балерины; у нашего города была хорошая репутация — сборы были обеспечены и по старой русской традиции мы преклонялись перед талантами и не скупились на аплодисменты.

Посещение оперы было для нас настоящим праздником. Снимали верхние вещи в левом, членском подъезде Железнодорожного Собрания, где наверху была раздевальня для дам, а внизу — для мужчин. Дамы выходили к поджидавшим их на лестнице спутникам нарядные, оживленные, разрумяненные морозом. Сначала направлялись в просторное фойе, одной стороной примыкавшее к зрительному залу, а другой к ресторану собрания, где после театра многие оставались поужинать. Тут же был устроен небольшой бар, где на более скромных началах можно было прекрасно закусить в антрактах. С другой стороны зала было еще одно большое фойе, так что было где пройтись, посмотреть публику, разглядеть туалеты, поболтать со знакомыми.

Зрительный зал Железнодорожного Собрания вмещал более тысячи человек. Очень удобные места были наверху, на балконе, особенно крайние, подходившие близко к сцене и ничем не уступавшие бэльэтажу или первому ярусу лож заправских театров. Тяжелый голубой занавес, с вышитой на нем золотом эмблемой КВжд, отделял обширную сцену, за кулисами которой были расположены прекрасные уборные для артистов, а сам зал, со своим лепным потолком, весь белый, залитый светом люстр, нарядный, какой-то праздничный, оживленный, создавал приподнятое настроение, так хорошо знакомое всем театралам.

Большой, содержавшийся в идеальном порядке, сад Железнодорожного Собрания воскрешал старую традицию русских городов — летние концерты на открытом воздухе. Перед выходящей в сад обширной террасой, на которой были накрыты столики для желающих

поужинать, всегда устраивалась огромная круглая ковровая клумба, выложенная сложным многоцветным узором руками искусных китайских садовников. Перед раковиной были расставлены удобные кресла. В аллеях, уходивших в глубину сада, благоухали табак, резеда, гелиотроп, и в тихие вечера звуки музыки далеко разносились по прилегающим улицам, так что ими можно было наслаждаться, не выходя из дома.

НАШИ ВРАЧИ

Лечились мы у русских врачей, лечились по старому, как наши родители в России. Врачебной страховки в Харбине не было. Патентика еще не восторжествовала над латинской кухней и мы получали лекарства каждый раз по индивидуальному рецепту своих докторов. Этика врачебного сословия стояла в Харбине очень высоко — еще не были забыты заветы Пирогова: на больных смотрели прежде всего как на людей, нуждающихся в помощи и совете и между врачем и его пациентом нередко устанавливались теплые, личные отношения. Врачи не отказывались выезжать по ночам; в серьезных случаях устраивали консилиум; платили по средствам. Служащие Дороги лечились у железнодорожных врачей; на линии были повсюду прекрасные железнодорожные больницы, а в Харбине, в Новом Городе, Центральная Больница недалеко от вокзала была настоящим городком, раскинувшим свои многочисленные бараки и жилые помещения для своего персонала среди тенистых деревьев, за высокой каменной оградой. Для остальных был целый ряд первоклассных частных больниц и лечебниц, оборудованных по последнему слову медицинской науки, с опытными сестрами и сиделками. Перед войной, в эпоху начавшихся на Западе гонений на евреев, на Дальний Восток хлынули немецкие врачи-евреи, среди которых было много хороших специалистов.

СЛУЖБА

Большая часть русских эмигрантов, осевших в полосе отчуждения и, в частности, в Харбине, остро нуждалась в заработке, особенно в первое время. Брали любую работу, лишь-бы как-то устроиться. Потом, осмотревшись, находили себе более подходящее занятие и в период процветания Харбина многие эмигранты жили безбедно и зачастую хорошо зарабатывали.

Условия работы в Харбине были самые патриархальные. Как сейчас помню молоденькую стайку машинисток, служивших в канцелярии Управления КВжд. Работали охотно, прилежно, помогая друг другу. Отношение начальства было самое корректное, часто дружеское. Оплата труда, особенно когда она была основана на условном «золотом рубле», не оставляла желать лучшего. Ни о каких забастовках не было и речи. Администрацию не считали врагом, эксплуататором, очевидно потому, что интеллигентным эмигранткам была чужда рабская пролетарская психология, хотя в то время вот уж, по правде сказать, мы были самыми настоящими пролетариями, жившими со дня на день исключительно на свой заработок.

В Харбине было много иностранных фирм: были банки, экспортно-импортные конторы, консульства. Служба в них считалась привилегированной и оплачивалась очень щедро. Лично мне с работой повезло: я поступила на службу в одну из лучших частных фирм города, хозяева которой, хотя и иностранцы, получили высшее образование еще в старой России. Принадлежавшее им во Владивостоке многомиллионное имущество было большевиками конфисковано, но кое-что сохранить сумели и вот, благодаря предприимчивости, старым связям и благоприятным условиям, сложившимся в Маньчжурии для всякого рода здоровой деловой инициативы, моим патронам удалось, начав со скромной конторы в одной из боковых улиц Пристани, широко развернуть дело, перебраться в обширное помещение на Китайской ул., в самом центре делового Харбина, и

даже распространить свои операции и на другие города Дальнего Востока.

Отношение администрации к служащим было самое гуманное. Никогда в нашей конторе не было слышно ни резкого замечания, ни повышенного голоса. Работать, правда, нужно было хорошо и добросовестно, но ни о какой эксплуатации сотрудников не могло быть и речи. Достаточно сказать, что наш рабочий день занимал всего 6 часов: одно время с 9-ти до часу и с трех до пяти, а потом — с 9-ти до трех без перерыва. В субботу работали пол-дня, до часу.

В случае заболеваний администрация оплачивала половину больничных счетов. За пропуски по болезни вычетов не было и никаких специальных удостоверений не требовалось. Весь дух нашей конторы был патриархальным, я бы сказала, патриархально-русским. Не было ни интриг, ни сплетен, ни доносов. Друг друга мы величали по имени и отчеству: никто не решился бы назвать коллегу Манькой, Лизкой, или Петькой и Ванькой. Никто не «тыкал» друг друга. «Ты» оставлялось для близких друзей, для семьи, а в деловой обстановке такая фамильярность считалась совершенно неуместной.

В то же время, мы работали в самой непринужденной, дружеской атмосфере. Время от времени, чтобы скрасить будни, администрация затевала китайские пельмени под рюмку водки. Все собирались в кабинете директора; китайцы-бои подавали дымящиеся китайские пельмени; было много шуток, смеха, иногда экспромтных выступлений на служебные темы.

Памятным в истории нашей фирмы было празднование ее 80-ти летнего юбилея. Проведено оно было парадно, на широкую ногу. В одном из лучших кавказских ресторанов Харбина был устроен пышный банкет, на который «со всех концов земли» прибыли хозяева предприятия с семьями и служащие всех отделений фирмы. Был сервирован прекрасный ужин с шампанским. Провозглашали тосты, пели соло и хором, танцевали под оркестр, словом, веселились чуть ли не до

утра. Гвоздем вечера была поэма, посвященная харбинской конторе, украшенная талантливыми каррикатурами на ее сотрудников, не исключая и наших патронов. Управляющий конторой читал стихи, а одновременно на экране появлялись увеличенные эпидиоскопом каррикатурные изображения всем хорошо знакомых лиц. Смеху, шуткам, веселью не было конца. Увы! Этот банкет оказался лебединой песней нашего предприятия. Обстановка в Маньчжурии стала резко меняться к худшему, работать становилось все труднее, операции фирмы постепенно сокращались и в конце концов, уже перед самым нашим отъездом из Харбина дело было окончательно ликвидировано.

Поэма, о которой идет речь, под названием «Кому в Харбине жить хорошо?», была издана фирмой типографским способом и роздана служащим на память. Она заканчивалась словами, которые оказались пророческими:

> "Настанут сроки, жизни плети разгонят нас кого куда, и станут милы сердцу эти неповторимые года. И вот тогда, необычайно, мы с вами встретимся опять, когда раскроете случайно вы эту тонкую тетрадь."

ЕЩЕ О РАЗВЛЕЧЕНИЯХ

Живя в основном в духе старых русских традиций, Харбин одновременно шел в ногу с веком и не отставал во многих отношениях от других крупных международных городов Дальнего Востока.

Так, одно время в ресторане Железнодорожного Собрания устраивались по воскресеньям пятичасовые чаи. Середина зала оставлялась свободной для танцев, а вокруг были расставлены круглые столики на несколько персон. Большая ваза с пирожными, чай и ко-

фе, а также подмывающие звуки салонного оркестра — все это за один даян с человека предоставляла администрация ресторана в лице неутомимого, элегантного, всем харбинцам хорошо памятного метрдотеля Лялина, а все остальное — смех, грацию, оживление приносили с собой гости, среди которых можно было встретить представителей всех кругов харбинского общества.

На Пристани культурным центром было Коммерческое Собрание, созданное на средства харбинской буржуазии. Здесь тоже была хорошая сцена, на которой шли драматические спектакли, концерты, доклады, вечера поэтов. Был и ресторан, и обширное фойе с удобными, мягкими диванами, и отличная библиотека, и шахматная комната, и бильярд, а после прихода советских, здесь же начали демонстрироваться советские фильмы, в первое время очень хорошие, не испорченные пропагандой. Харбинцы ходили на них охотно, хотя доставать билеты было довольно трудно.

В Харбине у многих создалась европейская привычка бывать в кафе. Особенно остался в памяти пристанской «Марс». Каждый вечер он наполнялся нарядной, беззаботной толпой. Отделенные перегородками, как ложи, уютные столики, освещенные цветными абажурами, создавали интимное настроение. Играла музыка. Пахло кофе, хорошим табаком, духами. Сюда приятно было завернуть на часок после кино, или прийти поужинать в своей компании. По утрам многие приходили сюда, чтобы за легким завтраком просмотреть газеты и журналы. Здесь назначались личные и деловые встречи. Кафе давало также возможность в приятной обстановке и без особых хлопот приветствовать своих друзей чашкой кофе с рюмкой ликера, или организовать более основательное угощение, вместо того, чтобы возиться дома.

Встреча Нового Года проходила в Харбине шумно и весело. Одни собирались в частных домах, другие ехали в рестораны, которые один перед другим старались привлечь гостей соблазнительным меню новогоднего ужина, первоклассным бальным оркестром, или

выступлениями популярных артистов эстрады.

Особенно парадно и весело бывало в зеркальном зале лучшего в Харбине отеля «Модерн» на Пристани, где в ночь под Новый Год можно было встретить буквально весь Харбин. Вились ленты серпантина, разлетался легкий дождь разноцветных конфетти, взрывались хлопушки, и люди всех возрастов, в смешных головных уборах — бумажных коронах, колпаках, с приколотыми к бальным туалетам, к фракам и смокингам изящными бутоньерками, беззаботно веселились, отбросив на один вечер все свои горести и заботы, веря, что Новый Год принесет новое счастье, или хотя бы сохранит старое...

ДОМ НА РЕКЕ

В Харбине, особенно в первые годы эмиграции, пооткрывались комиссионные магазины, в которых можно было найти все, что угодно — серебро Фаберже, фарфор, хрусталь, дорогие ковры, всевозможные золотые и серебряные вещи, старые русские ордена, шифры Смольного Института, иконы, обручальные кольца. Многие вещи несомненно ставились на продажу в силу крайней необходимости и были каким-то чудом вывезены эмигрантами, но не исключена возможность, что кое-что просачивалось в Харбин какими-то тайными путями и оказалось в чьих-то грязных, преступных руках в результате экспроприации, прямого грабежа или вымогательства. Это был, конечно, самый дорогой товар, который даже по случаю стоил больших денег, и предприимчивые люди с коммерческой жилкой охотились за такими редкими вещами и вывозили их дальше в Шанхай или заграницу.

Я хочу вспомнить здесь в связи с этим об одном случае, который, ввиде рассказа, даст читателю воз-

можность так сказать «изнутри» взглянуть на характер и условия нашей харбинской жизни «до» и «после».

— Какой это был чудесный, весенний дождь! Крупный, веселый, шумный, весь насквозь пронизанный золотом яркого, играющего солнца. Он захватил нас врасплох, когда мы, сойдя с рикш у железнодорожного переезда, должны были пешком пройти небольшой участок набережной до дома Ксении Кирилловны. Добежав до первых деревьев по ставшему вдруг сразу черным асфальту, мы остановились, пережидая, с наслаждением вдыхая ароматно посвежевший воздух, слушая тот особенный шум широколиственных деревьев, с которым проносятся по лесу весенние ливни, ощущая на лице очаровательную свежесть водяной пыли и слегка вздрагивая от прикосновения пробившейся сквозь густую листву и скатившейся по шее или обнаженной руке тяжелой дождевой капли...

Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Солнце, казалось, стало еще ярче, еще веселей. Все заискрилось, заблестело; деревья стояли отряхиваясь, охорашиваясь, молодая трава зеленела нежно и ярко.

Широкие зеркальные окна дома Ксении Кирилловны были раскрыты настежь. Весь белый, с модными обтекаемыми линиями, с широким большим балконом прямо на реку, он радовал глаз своими изящными пропорциями и, казалось, таил в своей глубине особое, недосягаемое счастье, удел избранных, какую-то сокровенную интимность, счастливую тайну, предчувствие которой давало ощущение радостного ожидания.

Дождь нас задержал. Мы опоздали. Хозяйка нервничала. Весь ритуал обеда, как всегда у Ксении Кирилловны, был рассчитан по минутам, и когда хозяин, целуя мне руку и смеясь глазами, говорил: «Виноваты, но заслуживаете снисхождения», Ксения Кирилловна, полушутя, полусерьезно, выговаривала моему мужу: «При всей моей симпатии к вам, дорогой, делаю вам публичный выговор: опоздание в четверть часа... все голодны. Степановна рвет и мечет: что-то перестоялось,

что-то пережарилось... Ну уж на себя пеняйте! Не будем терять драгоценного времени» — «И начнем, благословясь», — докончил за нее хозяин, отодвигая мне стул.

Стол накрыт был чудесно, с тем безошибочным вкусом, который отличал мою приятельницу. На сахарно-белой скатерти темно-лиловые гелиотропы в плоской круглой вазе горько и сладко пахли миндалем. Бокалы и рюмки, тоже лилового, японского стекла, на черных ножках — недавнее приобретение Ксении Кирилловны — бросали на скатерть сиреневые тени. Салфетки были сложены с таким искусством, что было жалко к ним прикоснуться...

Для Ксении Кирилловны возможность время от времени принять друзей была большой радостью. Она «творила» свои обеды, свои небольшие интимные приемы, как произведение искусства и, пожалуй, именно в этом находила выражение своего творческого «я», которое не могло найти себе выхода в более высоких и сложных областях жизни. Таланты, правда, у нее были, но как-то так случалось, что все они не получили ни завершения, ни окончательного оформления. Играла на рояле; когда-то подавала надежды. Но в результате сумасшедшего увлечения верховой ездой — сломанная рука. С музыкой было кончено! Танцевала... тоже подавала надежды. Но вот, после тяжелой операции стало пошаливать сердце: на танцы был наложен запрет. Разве лишь иногда, изогнув тонкую фигуру, положив руку на черную спину партнера, томно пройдется в танго к великому неудовольствию Бориса Ивановича — («Ну, Ксения, ну, для чего же? Ведь нельзя...»). Был у нее и модный салон, в котором она «создавала» свои модели пока не прогорела, оставшись с единственным активом: неподражаемым умением одеться элегантно и к лицу. «Все думают, говорила она, что я разоряю мужа: трачу бешеные деньги на туалеты. Но все мои платья стоят гроши. Я просто делаю вид, что шикарно одета... и все верят! Ну, помогают кое-какие мелочи: два-три хороших меха, две-три не сов-

сем заурядные драгоценности — остатки былого величия. А так, я уже давно, в сущности, почти ничего не могу на себя тратить...»

Нас было всего двенадцать человек. «У меня и посуды больше нет, — говорила Ксения Кирилловна, — да и вообще насколько веселее, приятнее маленькое общество с хорошо подобранной компанией, чем эти многолюдные приемы, куда едут только для того, чтобы отделаться.»

Моим соседом слева был милейший Борис Иванович, а справа — мистер Грэвс, англичанин, случайный гость в нашем городе, знавший Ксению Кирилловну еще с Петербурга, в доброе старое время. Остальные были все хорошо знакомые между собой люди, постоянно встречавшиеся в разных местах и по разным поводам, и поэтому за столом царило то непринужденное оживление, которое, подогретое хорошей выпивкой и вкусной едой, является единственным мерилом удавшегося приема.

Хозяин, Борис Иванович, видный инженер, при своей незаурядной жене всегда был как-бы на втором плане. Впрочем он служил ей фоном очень охотно, посмеиваясь про себя, но отнюдь не был какой-то безличностью, как о нем говорили злые языки, а просто принадлежал к тому типу людей, которые не считают нужным говорить встречному и поперечному: «Смотрите на меня: вот я какой!» Нас с ним связывали многолетние дружеские отношения, независимо от моей привязанности к его жене. Мистера Грэвса, немолодого, неторопливого и в речи, и в движениях, англичанина, я видела впервые. Он оказался приятным собеседником. Мы говорили с ним попеременно — то по-русски, то по-английски.

После обильной и разнообразной закуски в плоских чашках был подан бульон.

— Друзья мои, обращаясь к нам, заговорила Ксения Кирилловна, — вы меня просто разочаровали сегодня. Я думала, что принимаю людей, понимающих толк в хороших вещах, мечтала всех поразить... И что

же? Ноль внимания, просто-таки никто ничего не заметил.

— А что такое? — раздались голоса. — Новые графины? Серебро? Да нет, это ваше всегдашнее... Настойка какая-то особенная сегодня: хорошенько не разберешь в чем дело, но вкусно удивительно! Новый рецепт фаршмачка? Хорош, хорош, ничего не скажешь... Ах нет, что вы: в этом доме фаршмачком не удивишь...

Все смеялись, спорили, острили, перебивая друг друга.

Мистер Грэвс тем временем, перевернув ее вверх дном, внимательно рассматривал фабричное клеймо на обратной стороне десертной тарелки. Потом он постучал ножом по бокалу.

—Минуточку, господа, дайте мне сказать: я, кажется, знаю, в чем дело.

— Тише, тише, закричали все, — внимание!

— Миссис Ксени, сказал Грэвс, обращаясь к хозяйке, вы помните, где мы виделись с вами в последний раз в Петербурге, перед нашим отъездом из России? (Ксения Кирилловна медленно кивнула головой). Это было у графини М., помните? Она говорила, что уезжает тоже, что она бросает все свои драгоценные коллекции, что нужно спасать жизнь... И мы ели тогда на точно таком же фарфоре, и она говорила, что это сервиз ее бабушки, потом — ее матери, и вот перешел к ней и должен погибнуть, как гибнет во время революций все то хрупкое и прекрасное, что украшает нашу жизнь. Да, я хорошо помню этот рисунок, этот изящнейший бордюр из крохотных переплетенных цветочков, темно-синее с золотом, а на обороте клеймо знаменитого завода, уже давно несуществующего: распростертые крылья и вензель «В.К.». Вазы, чашки, блюда — все такое простое, такое незаметное, что большинство даже не обратит внимания, пройдет мимо, не оценив, какой это чудесный, необыкновенный фарфор.

Все взоры обратились на Ксению Кирилловну.

— Скажу вам одно, проговорила она, — сервиз этот я полгода обхаживала. Прохожу как-то мимо ко-

— Да вот, как видите, медленно проговорил он, наверное слышали, как все случилось. — Он махнул рукой. — Ах, Ксения Кирилловна, Ксения Кирилловна! Вот уж не думал, что переживу.

Он помолчал.

— Я слышал, знаю, что вы едете... Ну, что-ж, с Богом, в добрый час... Рад был вас повидать.

На тумбочке возле койки лежали разные мелкие предметы нищенского, жалкого обихода: гребешок, карандаш, надкусанное яблоко, маленький дешевый будильник, несвежий носовой платок... И вдруг мой взор упал на белоснежную чашку изысканной и изящной формы: по краю ее вился столь памятный узор из мельчайших переплетенных розочек, синий с золотом. Машинально, я протянула руку, повернула чашку вверх дном, взглянула на фабричное клеймо: да, так и есть — распростертые крылья и вензель «В.К.».

Я сидела, оцепенев, не в силах оторвать глаз от этой изящной вещицы. Я вспомнила тот весенний, тот счастливый день.. Ксению Кирилловну, Бориса Ивановича, не этого, а другого, настоящего. Всю вереницу тяжелых лет, невозвратимых утрат, незабываемой боли...

Когда я снова взглянула на Бориса Ивановича, он лежал все так же неподвижно, положив на грудь сухую, темную руку. Он смотрел на меня... он смотрел, и глаза его были полны слез. Он хотел что-то сказать, и не мог, только махнул рукой. Я быстро поставила чашку на место, наклонилась, поцеловала его в лоб, как целуют покойников и опустив голову пошла к выходу.

ПРИХОД ЯПОНЦЕВ

Переломным годом в жизни русских в Маньчжурии и, в частности, в Харбине, был 1932 г., когда этот край был захвачен японцами, создавшими на его тер-

ритории марионеточное государство Маньчжуго во главе с китайским императором, Пу-И.

Я хорошо помню тот день, когда в Харбин начали втягиваться японские войска; там и тут раздавались одиночные выстрелы, где-то шла легкая перестрелка, совсем нестрашная, так что все высыпали на улицу, чтобы полюбоваться на любопытное зрелище: немногочисленные японские войска, не спеша продвигавшиеся за своим начальником, вероятно генералом, надменно сидевшим на своем боевом коне. Китайские «серые», как мы их почему-то называли, не оказали почти никакого сопротивления и смена режима произошла у нас на глазах быстро и безболезненно.

Очень скоро началась усиленная японизация Маньчжурии. Утренний поезд из Дайрена каждый день привозил тысячи японских переселенцев. Но какими они в то время выглядели скромными и непритязательными, бредя большей частью пешком со своим скудным багажем, состоявшем из цыновки, одного-двух бумажных кимоно и простейших предметов домашнего обихода. Богатеть они стали, как на дрожжах — но ведь для этого они и приехали сюда из Японии, где жизнь была бедной и трудной. Маньчжуго, хотя и считалось китайским государством, фактически превратилось в японскую колонию. Всюду пооткрывались японские лавки и магазины, конторы, банки, школы, парикмахерские, и мы очень скоро узнали, кто теперь над нами хозяева. Впрочем перемены происходили постепенно, жизнь шла своим чередом, как будто все оставалось более или менее по старому; но тяжелую руку японских завоевателей мы особенно почувствовали во время войны. После первых, громких успехов держав Оси, японцы взяли наглый, повелительный тон. В своих честолюбивых замыслах — знаменитый план «Танака» — они мечтали, развивая наступательный порыв, объединить всю юго-восточную Азию, включив в нее часть Сибири, чуть ли не до Иркутска, в плане борьбы против красного империализма.

Среди русских эмигрантов нашлась наивная молодежь, верившая, что японцы наши союзники, вспоминая, как они помогли атаману Семенову удержаться в Чите, как воевали под Хабаровском. Но большинство понимало, что нам с ними не по пути и мы очень скоро почувствовали, что значит «быть под японцами».

Русским японцы явно не доверяли, подозревая во всех скрытых коммунистов. Все русское население было взято на учет, который осуществлялся через Бюро Российских Эмигрантов, созданное для сношений с русским населением. Постепенно на многие пищевые продукты и товары была введена карточная система; для проведения ее в жизнь была создана сеть так называемых «Тонари гуми», объединений по месту жительства, с выборными начальниками, которые следили за распределением и, конечно, выполняли и некоторые другие функции...

Всех нас, и мужчин и женщин, заставляли участвовать в нелепых учениях по гражданской самообороне на случай вражеского нападения. Мы таскали ведра с водой, выстраивались цепью для тушения воображаемого пожара, лазили по лестницам на крыши, оказывали первую помощь «раненым»; все это под грубые окрики какого-нибудь японского унтера, который, казалось иногда, откровенно издевался над нами.

В учреждениях, и даже в иностранных конторах, было введено обязательное изучение японского языка, и если бы не дружное сопротивление русского населения во главе с духовенством, нас заставили бы ежедневно совершать поклонение японской богине Аматерацу. Всюду, в обязательном порядке, появились японцы-переводчики, которых все боялись, как огня: в сущности это были шпионы, соглядатаи. Японская жандармерия и так наз. Японская Военная Миссия выполняли функции органов разведки. Была объявлена беспощадная борьба с коммунизмом и десятки людей, бессудно, безвестно, поплатились жизнью в японских застенках по одному только подозрению в «левизне» своих полити-

ческих убеждений. Как всегда в такой обстановке процветали доносы; люди бледнели, как полотно, от одного звонка из Военной Миссии.

Но и с китайцами наши новые хозяева особенно не церемонились. В любую погоду их гоняли тысячами на постройку дамб на Сунгари, а также, как передавали, бомбоубежищ, после чего или просто уничтожали безответных китайских кули, или гноили в тюрьмах на сыром гаоляне. Начала свирепствовать экономическая полиция. Людям буквально не давали дышать, создавая атмосферу общего озлобления, которое только ждало случая, чтобы вырваться наружу.

Но, как известно, военное счастье переменчиво. Грандиозные замыслы японского империализма рухнули, как карточный домик. Последний акт исторической драмы разыгрался у нас на глазах. В августе 1945 г., когда на остальных фронтах борьба была закончена, Советский Союз объявил войну Японии и, считая Маньчжуго ее сателлитом, вторгся в его пределы. Знаменитая Квантунская армия, считавшаяся непобедимой, сдалась, в сущности, без сопротивления и мы неожиданно, как в какой-то страшной западне, оказались в железном кольце советской оккупации. 1945 год, когда человечество праздновало мир, принес населению Маньчжурии горе и слезы и перечеркнул кровавой чертой историю нормального существования русского населения на китайской земле, открыв новую, скорбную страницу в трагической эпопее русской эмиграции.

СОВЕТСКАЯ ОККУПАЦИЯ

Как это ни странно, несмотря на то, что среди нас было немало «белобандитов» и убежденных противников большевиков, приход в Маньчжурию советских войск вызвал у многих совершенно непонятный, заглушивший все остальные чувства, даже столь естествен-

ное чувство самосохранения, патриотический подъем, возродив надежду на примирение с родиной. Несчастные, наивные люди! Дорого им обошлось наше русское прекраснодушие! После такой войны, после такой победы — говорили они — на старом будет несомненно поставлен крест; начнется новая эра, рожденная на поле брани, в кровавых испытаниях той невероятной эпохи, и Россия, забыв старые счеты, широко откроет двери своим зарубежным соотечественникам.

Я помню слезы умиления при виде первых советских солдат на улицах Харбина, крики «Ура!», восторги, доходившие до энтузиазма и принимавшие иногда совершенно нелепую форму. Перед витриной мужской парикмахерской, где, развалясь в кресле, расположился молодой красноармеец, дородная дама, жена врача, заслонив окно своим пышным турнюром, в каком-то упоении молитвенно восклицала: «Отойдите, отойдите! Вы недостойны смотреть на него!»

Вместо того, чтобы не теряя ни минуты, бросив все и вся, бежать на юг, пока — впрочем очень короткое время — это было еще возможно, или скрыться в китайском пригороде Фудядяне, бесследно потонув в китайской толпе, даже видавшие виды люди, прийдя неизвестно почему в какое-то размягченное состояние, вдруг вообразили себе возможность великодушия со стороны власти, которая ничего не забывает, ничего не прощает, и считает, что со всех сторон она окружена врагами.

Был среди наших знакомых заслуженный генерал, командовавший одним из фронтов во время Первой мировой войны. В эти сумбурные дни он как-то зашел к нам, якобы «выпить рюмку водки», в сущности, как я теперь понимаю — чтобы проститься. Это был очень старый и очень умный человек. Этот себя не обманывал, только сказал: — «Мне больно думать, что моя родина станет палачом свободного мира.» И еще один, из той же плеяды доблестного русского офицерства, бывший полковник Генерального Штаба. Пришел подавленный, помолчав, заметил: — «Устал... что же всю

жизнь идти против течения? Ведь все примирились с ними, все подали им руку...»

Увы, развязка наступила скорее, чем это можно было ожидать. Прошло несколько дней полных розового тумана и советская власть еще и еще раз показала нам свое подлинное лицо. Начались аресты... Люди стали исчезать. Задерживали на улице: «Попрошу вас, товарищ, на минутку. Вот и машина кстати...» Приходили ночью. Был ряд групповых арестов. Как будто издеваясь, предложили представителям делового Харбина явиться на какое-то якобы совещание в Комендатуру, к определенному часу. Собирались бодро и даже весело; тщательно одевались, подбирали галстуки под цвет носкам. Но «деловой» разговор был недолгий: все были задержаны — «пока!»

Сначала не верили, ужасались, называя друг другу те или другие имена. «А Николая Николаевича за что же? Уж такая божья коровка! Да и не служил нигде. Все больше в своем садике копался...» — «Павла Петровича? Да не может быть! Ну, это ошибка. Разберутся, выпустят.» — «А слышали, ночью Мусю забрали. Так, без церемонии, ввалились прямо к ней в комнату и «давай, давай, поворачивайся, девка: и без тебя делов много!» — «Господи, воля Твоя! Да что же это творится такое?»

Потом стали придерживать языки: «Ведь если арестовали, то может быть за дело. Вот меня же не взяли! Чужая душа потемки. Бог его знает: мое дело сторона...»

В тот год вода на Сунгари стояла очень высоко и советские канонерки подошли и пришвартовались к самому берегу, чуть ли не на уровне набережной. И вот по замершему, притихшему Харбину начали рыскать отряды морской разведки; к ним присоединилась военная разведка и агентура НКВД. В некоторые дома за одним и тем же лицом приходили по несколько раз. Видно, перестарались добровольные осведомители: переработали план...

Позднее, вспоминая то страшное время, подсчита-

ли, что всего было «взято» в Маньчжурии не менее десяти тысяч человек! Уже не хватало тюрем. Уже начали занимать школы, пустовавшие помещения, учреждения, а потом случилось самое страшное: «их» начали вывозить целыми вагонами в Советский Союз, эту Богом забытую страну; а мир молчал. Ни один голос не прозвучал в нашу защиту!

Одновременно и с линии стали поступать вести одна другой хуже. Советские войска двигались на Харбин с восточного и западного направлений. Войска? Нет, это были не войска, а банда грабителей и насильников. Начались аресты, бессудные расстрелы, надругательства над женщинами, повальные грабежи. Линия была буквально опустошена и разорены были дотла многочисленные, благоустроенные поселки, ютившиеся около железнодорожных станций. Между тем, жители их, как правило, обосновались в Маньчжурии давным давно, еще до революции; многие из них родились тут и никогда не были в России, не говоря уже о СССР. Они занимались мирным трудом и со свойственным россиянам благодушием, не чувствуя за собой никакой вины, были почему-то уверены, что уж их-то «свои», конечно, не тронут.

Непонятный оптимизм. Ведь у многих должны были сохраниться в памяти события, разыгравшиеся близ советской границы на территории Маньчжурии в 1929 году во время так называемого советско-китайского конфликта. Как только, с объявлением СССР войны Японии, во весь рост встала угроза вторжения советских войск в полосу отчуждения, население не могло оставаться спокойным за свою судьбу, рассчитывая неизвестно на что и цепляясь за свое эфемерное благополучие.

В тот — 1929-й — год особенно пострадало Трехречье, район граничащий с р. Аргунью, отрогами Хингана и с линией КВжд, где расположились зажиточные казачьи поселки, главным образом, выходцев из Забайкалья. Самым большим поселком этого района была Драгоценка, где находилось станичное правление, цер-

ковь и школа.

Конфликт этот имеет свою длинную историю и изобилует драматическими событиями. После перехода КВжд в 1924 г. в совместное управление Советского Союза и Китая, Маньчжурия была наводнена советскими специалистами, якобы приехавшими работать на Дороге, но фактически занимавшимися подрывной работой с целью подчинить Маньчжурию советскому влиянию, свергнув маршала Чжан Цзо-лина и заменив его своим ставленником. Китайцы не хотели с этим мириться и когда после раскрытия заговора выученика Москвы, генерала Ян-Чжо, замышлявшего свергнуть мукденское правительство, и казни его, Советский Союз сделал новую попытку поднять против Мукдена войска ген. Го Сун-лина и советская администрация содействовала ему, приняв меры, чтобы не допустить переброску войск из Цицикара на помощь правительству, советский управляющий Дорогой, Иванов, был арестован. Были произведены обыски в советских учреждениях, в том числе и в харбинском отделении Торгпредства. Отношения между сторонами продолжали ухудшаться. Своей кульминационной точки конфликт достиг в 1929 г., когда китайцы оцепили здание советского консульства в Харбине, где происходило совещание сотрудников Коминтерна, и конфисковали ряд документов, полностью разоблачивших их подрывную деятельность. Протест Москвы остался без ответа.

В июле того же года китайцы арестовали ряд видных советских служащих Дороги, уволили управляющего Дорогой Емшанова и с несколькими другими советскими сотрудниками выслали его в Москву. В ответ на это Москва предложила всем советским служащим саботировать работу Дороги. Чтобы пресечь их вредную деятельность, китайцы были вынуждены арестовать до 2.500 советских железнодорожников и интернировать их в лагере Сунбей за Сунгари. Тогда советское правительство стало стягивать свои войска к маньчжурской границе, но еще до начала открытых военных действий советские вооруженные отряды в

разных пунктах переходили границу и беспощадно расправлялись с местным населением. Чинимые ими зверства не поддаются описанию. Так, поселок Горбунор был сожжен дотла и все жители его были перебиты буквально до последнего человека. Такая же судьба постигла и некоторые другие поселки, в том числе — Тыныхе. Несколько сот казаков были захвачены и вывезены в СССР; скот и лошади угнаны в Союз; имущество разграблено. Когда же позднее уже регулярные советские войска с самолетами и бронемашинами заняли Чжалайнор и г. Маньчжурию, по заранее заготовленным спискам начались аресты, вывоз всего наиболее ценного. Жители Хайлара, узнав о судьбе Маньчжурии, пришли в ужас: в панике они бросились к властям, умоляя их наладить эвакуацию. Дело тянулось: не хватало составов. В конце концов, после бесконечных мытарств, пробыв в пути в крайне тяжелых условиях около трех дней, многим удалось добраться до Харбина. Сотни людей остались без крова и были ограблены до нитки, приехав в чем были. Что же касается тех, кто все же решил остаться в Хайларе, одни были расстреляны, другие вывезены и все дочиста ограблены.

В Харбине сирот разобрали по приютам, стариков поместили в богадельни, а те, кто не имел в городе ни друзей, ни родных, были размещены в общежитиях благотворительных учреждений.

Рассказывая об этом, я не ставила себе целью изложить весь сложный и путаный ход советско-китайского конфликта 1929 г. Я только хотела напомнить о том, какая страшная судьба постигла русских жителей, переживших задолго до 1945 г. нашествие своих советских единоплеменников. Как можно было об этом забыть и строить себе по этому поводу какие-то иллюзии? Все пережитые тогда ужасы снова повторились, но только в более широком масштабе.

Возвращаюсь к прерванному рассказу.

При виде того, что творилось вокруг, харбинский обыватель наконец с ужасом понял, что никто не мо-

жет быть спокоен, что каждый находится под ударом. И все-таки, несмотря ни на что, первое время казалось, что все может еще как-то уладиться; что таких ужасов в жизни просто не бывает, не должно быть! Еще верили успокоениям, ласковым уверениям: «Не волнуйтесь... Нам просто надо осмотреться, ознакомиться, разобраться... Ведь мы буквально завалены доносами. — (Увы, это была правда!) — Потерпите ну, самое большее, две-три недели.»

Лгали прокуроры; лгали чины Комендатуры; лгали адъютанты и лейтенанты, ибо судьба задержанных была предрешена и их, взятых в чем были, без вещей, без денег, без последнего напутственного слова, начали эшелонами перебрасывать в Союз на лишения, издевательства, нередко на страшную смерть или, быть может, еще более страшную жизнь советского лагерника. Не разрешалось ни свиданий, ни передачи, того, в чем старое русское правительство не отказывало даже цареубийцам. Люди исчезали без звука, без слова, без следа, как камень, тяжело и безвозвратно идущий ко дну таинственной и страшной бездны.

Да, мы узнали все, что узнали до нас сотни тысяч и миллионы русских людей. Чувство неуверенности и страха. Сознание своей полной бесправности и бессилия. Отчаяние. Бессонные ночи. Обманутые надежды. Утрату самого дорогого. Полное и безвозвратное крушение личной жизни.

Помню молебен в Соборе, молебен об увезенных, когда храм не мог вместить толпы молящихся. Там были женщины с несчастными, измученными лицами; дети, лишенные отцов; старики, обреченные на одиночество и нищету...

Помню прием в Советском консульстве, когда нам было предложено заполнить анкеты об увезенных и обещано, что в самое ближайшее время обо всех будут даны подробные сведения: это была очередная ложь... И особенно помню, беспощадно-ясно, один день, со всеми подробностями, навсегда оставшийся в памяти.

ОДИН ДЕНЬ

Было раннее утро, когда Лида ворвалась ко мне в состоянии, близком к истерике. Ночью я почти не спала: то ложилась, то вставала; пила теплое молоко, чтобы успокоиться, а мысли, мучившие днем, как неотвязный кошмар, продолжали томить и ночью и надрывать сердце мучительной тоской.

Лида так хлопнула дверью, что я привскочила в испуге — мы так легко пугались в то время.

— Лида, ради Бога... Что такое опять? Что случилось?

В то время «что-нибудь» случалось каждый день. И это было всегда что-то непоправимое, очень страшное. Недаром во всем городе на парадных дверях были отвинчены ручки; недаром с наступлением темноты никто не зажигал огня, а неожиданный звонок стегал по обнаженным нервам, как удар хлыста; недаром осторожные люди по вечерам избегали выходить из дому, а выйдя, даже днем, должны были возвращаться в точно назначенное время, если дорожили душевным спокойствием своих близких.

Ложась в постель, вчера, уже во втором часу ночи, я забыла задернуть занавес: все стояла у окна, глядя в пустую, тускло освещенную улицу и как-будто ожидая чего-то. В комнате было светло; солнечные лучи раннего осеннего утра беспощадно подчеркивали перемену, происшедшую за последние дни во внешности моей приятельницы.

Всегда элегантная, выхоленная, умело подкрашенная, она казалась интересной, но волнения, тревога, постоянно натянутые как струна нервы сделали ее неузнаваемой и состарили по крайней мере на десять лет.

Лида и всегда отличалась повышенной нервностью: каждый пустяк мог вывести ее из душевного равновесия. Что же удивляться, что теперь она превратилась в сплошной комок нервов, собранных, сосредоточенных из последних сил на одной цели: как помочь, как добиться освобождения? Как вымолить его у военного

прокурора, или у коменданта города и его адъютанта? Как пробиться через непроницаемую стену официального равнодушия, а зачастую нескрываемой враждебности? — («Что вы с такой дрянью связались? Поезжайте в Союз. Мы вам там другого мужика найдем.»)

И все же, несмотря ни на что, ей как-то удалось неведомыми, таинственными путями кое-что сделать, кое-чего добиться. Она сумела передать Алику небольшую посылку с самыми необходимыми вещами, немного еды, а от него получить записочку, правда, всего несколько слов: — «Не горюй! Береги себя, дорогая!»

Точно так же, обостренный до ясновидения инстинкт, или тайное предчувствие и своего рода интуиция, подсказали ей, что в какой-то определенный вечер, в такой-то час и по такой-то улице в Городскую тюрьму из Комендатуры проедет грузовик с «ними», что есть надежда увидеть Алика. И действительно: она даже успела, задыхаясь, добежать до тюрьмы и несмотря на грубый окрик часового вошла в широко открытые ворота, сделала несколько шагов, ближе, еще немного ближе, и успела издали попрощаться, помахать рукой, даже улыбнуться сквозь слезы.

Но эти люди на грузовике уже казались чужими. Они не принадлежали больше к нашему миру и на их измученных, сумрачных лицах, казалось, уже лежала печать обреченности, отделявшая их от прежней жизни невидимой, но непреодолимой стеной.

В тот вечер Лида вернулась домой, изнемогая, без сил, как раненая птица. Говорить она не могла. Охватив голову обеими руками, она только твердила, не переставая, как заклинанье: «Алик, Алик! Боже, как больно, как больно...»

В то памятное утро она была совершенно вне себя.

— Я еду немедленно, внизу у меня машина. Слушай, ради Бога не перебивай! Я узнала, что сегодня утром поезд с нашими остановится на минуту в Московских Казармах. Их увозят, но мы можем еще увидеться, хотя бы попрощаться... Но только скорей, скорей:

каждая минута на счету... и скажи Наде.

Я не успела опомниться, как Лиды уже не было в комнате. Я начала поспешно одеваться.

Надя жила этажом ниже. Я раньше мало знала ее, но теперь нас сблизило общее горе: у нее «взяли» брата. Это была красивая женщина с глазами Мадонны, с чистым и нежным овалом матово-бледного лица. Меня всегда удивляло, что с такой наружностью ей никак не удавалось наладить свою личную жизнь: неудачные браки, какие-то драмы, легковесные романы...

На мой стук открыла через цепочку дверь ее мать, с испуганным лицом.

— Скажите Наде, чтобы собралась как можно скорей. Очень важно. Рассказывать некогда. Я бегу за машиной и буду ждать на углу.

Но куда броситься? Такси в то время в городе достать было невозможно. Помогла добрая душа; и это иногда случается в жизни!

— Ждите здесь, сказал Сергей. — Не волнуйтесь, все будет в порядке: через десять минут вернусь с машиной.

Но где же Надя? Боже, что за мученье! Бегу назад, на квартиру.

— Марья Петровна, где же она? Ведь время идет...

— Ах, Господи! У меня уже все в голове перепуталось... Она что-то говорила о Косте, я не совсем поняла. Спросите там.

Почему Костя? При чем он здесь? Как все это не во время. Хорошо только, что тут же на углу.

Костя был маленький грек, наш общий парикмахер, славный малый. Добежала. Ворвалась — и остановилась на пороге, не веря своим глазам. Надя удобно сидела в кресле перед зеркалом в то время как Костя ловко подкалывал ей локоны, приводя в порядок прическу.

— Ах это вы? Да, да... уже готова... едем!

У меня не было слов. Я молча повернулась и выбежала на улицу. Не помню, как нас по дороге перехватил Сергей, как мы уселись в машину, как тронулись

и я все время умоляла его: «Скорей, скорей, ради Бога скорей!» Но мы и так мчались, как сумасшедшие по немощенным улицам харбинского пригорода, разгоняя испуганных кур и оставляя за собой густое облако пыли.

Наконец машина круто повернула направо и остановилась.

— Ну вот, сказал Сергей, — приехали: здесь нужно выйти. Дальше ехать не могу. Поверните вон за те домики и увидите прямо перед собой железнодорожные пути. Всего...

Пока мы собирались, бегали туда и сюда, сговаривались, усаживались, ехали, солнце уже высоко поднялось на небе. Над нами застыла безоблачная, безмятежная синева. Кругом стояла тишина.

Мы повернули за угол и остановились.

Вот, закрываю глаза и вся картина так ярко встает передо мною, как будто это было вчера. Усыпанная желтым песком площадка полустанка, освещенная яркими солнечными лучами. За ней — холодный металлический отблеск уходящего вдаль двойного рельсового пути. Над всем почти физически, как чье-то присутствие, осязаемое, застывшее молчанье. Тут и там несколько одиноких женских фигур. И это все...

На груде сложенных в стороне досок сидела Лида, безжизненная, поникшая, как цветок со сломанной головкой. От ее энергии, от ее лихорадочного возбуждения не осталось и следа.

— Лида, где они?

Беззвучно, так, что я скорее догадалась по движению губ, чем услышала, она прошептала: — «Их нет.»

— Но Алеша, Володя были в поезде? Ты не опоздала? Видела их?

Лида кивнула.

— Они до последней минуты ждали вас. Некоторые бросали записки женам, детям... Если бы ты их только видела: такие несчастные, жалкие! Увезли, увезли...

Она была близка к обмороку.

Я старалась не смотреть в сторону Нади. Она казалась существом из другого мира рядом с нами, изму-

ченными, некрасивыми, с покрасневшими от бессонницы глазами. Ее точеное лицо, как всегда, было бледно, как она любила говорить «аристократической бледностью», и совершенно спокойно. Выхоленная рука поднялась и заботливо поправила выбившийся локон. И совершенно некстати, сама не знаю почему, злая мысль кольнула мне сердце: «Моя красавица, подумала я, — теперь я понимаю, почему у тебя никогда не было настоящего женского счастья.»

СОБЫТИЯ ИДУТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ

Между тем в городе шел грабеж в планетарном масштабе. На грузовиках доблестные воины вывозили «трофейное имущество», прихватив попутно и обстановку частных квартир, не брезгуя ничем, даже вывинчивая зеркала в ванных комнатах. Им все годилось, а имущество побежденных японцев они уж конечно считали своей законной добычей. К стыду нашему надо признаться, что в мутной и страшной волне, захлестнувшей в то время наш город, местные жители, харбинцы, по той или другой причине чувствовавшие себя в безопасности, тоже хорошо нагрели руки и здорово «натрофеились», выступая в роли наводчиков и пьянствуя со своими новоявленными друзьями, советскими героями.

НАША ПРЕССА И ЕЕ СУДЬБА

Я уже упоминала, что Харбин, благодаря исключительно высокому культурному уровню хлынувших в него эмигрантов, стал культурным центром Дальнего Востока и до войны жил жизнью богатой самыми разнообразными интересами, воспользовавшись твердой

материальной базой, созданной трудами, талантами и жертвами основного русского населения маньчжурского края. В частности, в нашем городе издавался ряд газет и журналов, серьезные труды специалистов по изучению Маньчжурии, справочники, учебные пособия, карты и т. д.

Одной из первых русских газет эмигрантского периода была газета «Свет». Хочется вспомнить об ее создателе и редакторе, Г. Сатовском-Ржевском — («Гарри С.Р.»), который в то далекое время живо откликался на все наши эмигрантские горести и печали, помещая в своей газете прекрасные статьи в лучших традициях высоко стоявшей в России публицистики большого стиля. Он сам был человеком теперь уже почти исчезнувшего «вида»: дворянином-интеллигентом, знатоком философии и поэзии, широко образованным человеком с гуманными взглядами, человеком с идейной подоплекой жизни, ибо для него идея — идея вообще, национальная, религиозная, философская — была не пустой абстракцией, а живой, движущей силой жизни.

В годы, о которых я теперь вспоминаю, самой популярной газетой в Харбине была «Заря» — занятная, очень злободневная. У руководителей ее было несомненное профессиональное чутье и наряду с серьезными статьями общественно-политического содержания менее взыскательный читатель, (и особенно читательница), с удовольствием просматривали бойко составленные заметки о вчерашнем бале в Яхт-Клубе, о том, как эффектно выглядело платье от «Антуанетт» на г-же X, о «великосветских» свадьбах, о скачках, о всевозможных городских происшествиях... На страницах «Зари» находил себе отражение быт большого, богатого и, конечно, грешного города, и если ее язык и был порой языком улицы, языком сплетни, многим это приходилось по вкусу, так как это был голос самой жизни.

Одно время «Заря» открыла свой филиал, «Вечернюю Зарю», а затем «Рупор» — газеты живого и легкого типа. В «Рупоре» был широко поставлен такой модный теперь «Отдел для Женщин»; при нем были орга-

низованы также всевозможные курсы и студии, в которых за гроши можно было получить различные полезные трудовые навыки и знания.

Была еще занятная, но уже чересчур легковесная газета «Копейка»; эта откровенно создавала себе тираж на сенсациях зачастую невысокого разбора и сомнительного вкуса.

Две большие, серьезные газеты, «Гун Бао» и «Харбинское Время», хотя и пользовались поддержкой первая — китайских, а вторая японских кругов, все же фактически велись русскими и, как правило, стояли на национальной точке зрения. Одно время в Харбине издавалась откровенно просоветская газета «Новости Жизни», но успеха не имела и вынуждена была закрыться.

Был у нас и свой еженедельный иллюстрированный журнал «Рубеж», типа парижской «Иллюстрированной России». Журнал имел своих корреспондентов в Париже и Нью Йорке, давал интересный фото-репортаж, перевод последнего «бест селлера», оригинальные стихи, рассказы и каррикатуры и так прочно вошел в харбинский быт, что в субботу, кончив трудовую неделю, нельзя было представить себе послеобеденный отдых без очередного номера «Рубежа», в его нарядной, пестрой обложке.

Но вот, в 1945 г., все это, созданное трудами русских, было начисто разгромлено «русскими» же руками. Служащие редакций и типографий разбежались; линотипы были погружены на платформы и увезены в Советский Союз; запасы красок, шрифтов, бумаги, клише, — дотла разворованы, а что не разошлось по рукам, было тоже увезено за «родные рубежи». Поэты, писатели, журналисты, были большей частью арестованы и увезены; но о них я расскажу позднее и несколько подробней. Как всегда, советская агентура стремилась уничтожить «головку», культурную элиту тех несчастных районов, в которых хотя бы на короткое время допускалось беспрепятственное хозяйничанье советских властей.

Таким образом, харбинцы, лишенные своей прессы и предоставленные самим себе, были отданы во власть разговоров, слухов, всевозможных страхов и предположений. А думать и гадать в то время нам было о чем!

Впрочем, довольно скоро у нас все же появился свой печатный орган, ввиде «Русского Слова»; это была жалкая газетенка, бесславная наследница разогнанных и разгромленных советской ордой русских периодических изданий.

В духе славных советских традиций, наше «Русское Слово» отражало все, что угодно, но только не интересы и желания своего читателя. Хроника городской и местной жизни была начисто вычищена с его страниц. В городе в мгновенье ока прекратились грабежи, убийства, пожары. Передовицы превратились в более или менее неуклюжий пересказ статей из «Известий» и «Правды».

Что касается жизни заграницей, то читатель, если он еще верил печатному слову, только дивился, как еще существует этот гнилой Запад и эта кровожадная Америка, если во главе их, судя по «Русскому Слову», стоят или круглые идиоты, или отпетые преступники и агрессоры.

Как справочник, газетенка эта все же приносила некоторую пользу: из нее можно было узнать где, когда и по какому поводу состоится групповое или районное собрание граждан; где, когда и кому регистрироваться для разных целей; где получать талоны на бобовое масло, на мануфактуру, на хлеб — когда в городе, уже позднее, была опять введена карточная система. Но вот настало такое время, когда на страницах «Русского Слова» начали раздаваться проклятия в адрес лиц, собиравшихся заграницу, а со времени Целины был введен отдел «Письма с родины», в котором вновь обретенные граждане Советского Союза изливали свои радости и восторги. Материал процеживался до последнего словечка, даже простого объявления нельзя было поместить без санкции редактора. Доходило до курье-

зов, но, как известно, чистопородные коммунисты совершенно лишены чувства юмора. В траурном объявлении по случаю смерти одной дамы, фамилия которой имела дворянскую приставку «фон», это злополучное «фон» было вычеркнуто, а на недоуменные вопросы родственников было заявлено, что никаких «фонов» теперь не существует.

БИБЛИОТЕКИ И КНИГИ

Как и следовало ожидать, взор красных варваров обратился и на наши прекрасные, богатые, десятилетиями создававшиеся библиотеки. В один прекрасный день, зайдя в Коммерческое Собрание и открыв каталог его богатейшего книгохранилища, я не поверила своим глазам: это было море красных чернил. Некоторые страницы были вычеркнуты чуть ли не целиком: Алданов, Амфитеатров, Адамович, Бунин, Гребенщиков, Достоевский, Зайцев, Мережковский, Осоргин, Розанов, Леонтьев, Соловьев — да стоит ли перечислять — были изъяты, не говоря уже, конечно, о мемуарах и воспоминаниях русских государственных и общественных деятелей последних десятилетий. Все это было отправлено на свалку. Горы этих зловредных книг были потом сожжены на дворе Коммерческого Собрания, воскрешая аутодафэ «темного» средневековия. Что сталось с обширной и великолепно подобранной библиотекой Железнодорожного Собрания — выпиской книг для нее одно время заведывал хорошо известный проф. Н. В. Устрялов — я не знаю: или разворовали и разграбили, если хватило здравого смысла и элементарной интеллигентности, вывезли, а может быть, чтобы не возиться, просто сожгли. Другие харбинские библиотеки, вероятно, постигла та же судьба.

Одним из лишений в последние годы нашей жизни в Харбине было отсутствие новых книг. Когда нача-

лась война, приток новинок из заграницы прекратился. Кое-что, воспроизведенное в Шанхае фотографическим способом, иногда попадало к нам, но ни заграничных газет, ни журналов, ни возможности что-либо выписать у нас не было. Правда, русские газеты продолжали выходить, но от них отлетел дух независимой и смелой мысли. Пресса стала казенной. Освещение всех текущих проблем — казенным. По мере хода войны цензура все усиливалась и усиливалась.

После 1945 г., когда в Маньчжурию пришли советские войска, в Харбин хлынула советская литература. Первое время, вероятно в целях пропаганды, советские книги продавались по баснословно низким ценам — почти по цене бумаги на вес. Конечно, мы с жадностью на них набросились.

Особенно интересными показались нам книги о войне. Написанные по горячим следам исторических событий, их живыми свидетелями, или участниками, они, казалось, еще хранили в себе отблески пожарищ, отголоски военных катастроф и успехов, трагических отступлений и поражений, завершившихся триумфальным пафосом победы. На страницах этих книг мы снова встретили и узнали знакомые черты русского человека, в испытаниях, трудах и подвигах войны, увековеченные и воспетые нашими великим художниками слова.

Исторические романы, с художественной точки зрения, казалось нам, стояли ниже: писатели явно стремились сохранить за собой больше творческой свободы, углубляясь в события давно минувших лет. В этой категории выше других стояли писатели из «стариков», начавшие свою литературную карьеру еще до революции.

Что касается современных бытовых романов, то это была такая непроходимая скука, что серьезно говорить о них, как о художественных произведениях, просто не стоит. Впрочем оценка им дана уже давно и вряд ли нужно повторять азбучную истину, что искусство не терпит насилия и требует полной творческой свободы.

Постепенно советские книги стали дорожать. Их становилось меньше и меньше, а в последние годы многое можно было достать только у букинистов. Техническая литература — словари, справочники, руководства — смешно сказать, прибывали в количестве пятидесяти экземпляров и приобрести их простому смертному стало невозможно: они заранее расписывались по особым ордерам среди казенных учреждений. Видимо, тираж советских печатных изданий далеко не покрывал спроса. Нам передавали даже, что журнал «Огонек» в СССР достать почти невозможно и что многие «советские», приехавшие оттуда, знакомились с ним только заграницей.

НАШИ ПОЭТЫ

Характерной чертой русского дореволюционного быта — я имею ввиду, конечно, интеллигенцию — была любовь к стихам. Наши большие поэты были воистину властителями дум восторженной русской молодежи. И в столицах, и в провинции, процветали различные студии и кружки, зачастую издававшие свои альманахи и сборники, состоявшие из людей страстно увлекавшихся стихами, нередко изучавших искусство стихосложения как некое высокое ремесло и стремившихся выразить в поэзии свое сокровенное, внутреннее «я».

В Харбине, в эмиграции, русская молодежь осталась верна этой благородной традиции и приходится только удивляться, что в грохоте и шуме тех трагических лет не был заглушен и продолжал звучать и радовать чистый и нежный голос поэзии.

Поэты издавали свои сборники, устраивали вечера, конкурсы, периодически собирались, печатались. Среди них были подлинные дарования и грустно думать, что проходящие годы все дальше отодвигают самое воспоминание о них и кажется обидным и несправедли-

вым грозящее им полное забвение, забвение не только их самих, но и их творчества.

Я хочу вспомнить здесь несколько человек из их числа; все харбинцы их хорошо знали и может быть им интересно будет услышать, какая судьба постигла некоторых из этих харбинских «любимцев муз».

Общепризнанным мэтром харбинского Парнаса был А. И. Несмелов (Митропольский). По своему возрасту он принадлежал к старшему поколению, писать начал рано — еще в 1912-13 гг. -- но талант его развился и окреп уже в годы эмиграции и именно в Харбине, где он безвыездно прожил вплоть до осени 1945 г.

Это был довольно плотный, среднего роста человек, с рыжеватыми волосами, с мало-выразительными светлыми глазами. Он был очень замкнут, молчалив, с неторопливыми движениями, с мягкими, белыми руками. Во всем его внешнем облике не было ничего поэтического. Да и внутренне он казался человеком холодноватым, скептическим, во многом разочаровавшимся, много пережившим. Стихи он писал щедро, не все на одном уровне, но в лучших его строках во всей полноте проявлялся редкий дар его поэтического мастерства. Он умел находить слова пронзительной нежности, проникновенного лиризма. Он безукоризненно владел формой; был настоящим «мастером своего ремесла».

Несмелов, страстный рыбак, был буквально влюблен в Сунгари, понимал и чувствовал природу, но без всякой сентиментальности. Многие считали, что по своей манере он близок к Пастернаку, к Марине Цветаевой, но мне кажется, что преодолев их влияние в более ранний период своего творчества, он в зрелые годы вышел на свой собственный путь и приобрел свое лицо, конечно, неповторимое, как лицо всякого подлинного поэта.

Свои стихи он читал не ярко, однообразно, с какой-то легкой шепелявостью в произношении и, как это ни странно, ибо он сам прекрасно понимал свою значительность как поэта, как-будто слегка стесняясь. Но стихи его пели и звучали сами:

"За вечера в подвижнической схиме, за тишину, прильнувшую к крыльцу... За чистоту, за ласковое имя, за вытканное пальцами твоими прикосновенье к моему лицу."

═══

"Была похожа на тяжелый гроб большая лодка. И китаец греб, и весла мерно погружались в воду. А ночь молчала и была она, беззвездная, безвыходно темна, и обещала дождь и непогоду."

В те роковые осенние дни 1945 г. я видела Несмелова в последний раз, сидя на подоконнике выходящего на Китайскую большого трехэтажного дома. Было тускло, пасмурно, на душе скребли кошки. «А вон Арсений», сказал кто-то возле меня. Я взглянула вниз. Несмелов шел по противоположному тротуару, осторожно переступая лужи, подняв воротник своего пыльника, глубоко засунув руки в карманы, в своей старой, неизменной кепке на голове. Он шел с женщиной, с которой, как говорили, был связан последние годы. Они шли рядом, в ногу... Но шли, как чужие. Ее как будто не было: он был один. Молча они свернули за угол и скрылись из глаз. И вот таким он и остался у меня в памяти, одиноко, в грязь, в слякость, идущим навстречу неизбежной судьбе... Она свершилась на следующее утро.

Постоянным спутником Несмелова в его сунгарийских прогулках, его собеседником в харбинских кабачках, был другой интересный поэт, В. К. Обухов. Это был талантливый, но глубоко неудовлетворенный жизнью человек. Он всему говорил «Нет!» Чего-то ищущий, часто дерзкий, и в то же время безвольный, парадоксальный, всегда иронический и порой неприятный. Писал он мало. Его единственный сборник, «Песчанный Берег», едва ли содержит более двадцати пяти пьес. Но он был даровит, он любил и понимал стихи, они были частью его души, частью его жизни.

Был он невысокого роста, с большим черепом, с ироническим изгибом красивых губ. Что-то чувствовалось в нем всегда трагическое и, действительно, невесело сложилась его судьба. В 1945 г. он был увезен в Союз; летом, если не ошибаюсь следующего года, в числе трех, он был почему-то возвращен в Харбин. Кое-что рассказывал. Больше молчал. И вскоре умер от страшной болезни в возрасте не более сорока, сорока-двух лет. Я считаю его погибшим талантом не только физически, раньше обычного срока, но и задолго до этого, жертвой нашего безвременья, не сумевшим найти себе внутренней опоры и преодолеть душевный надлом.

Обухов презирал свою жизнь, сложившуюся, как ему казалось, серо и неинтересно. Скучная, нудная работа ради куска хлеба... Вечные будни... А он понимал другие вещи, яркие, смелые, значительные. Он был страстным поклонником Гумилева, знал каждую его строчку и всю жизнь томился по недоступным берегам.

> "Воспоминанье это, или сон, — луч золотой в сиреневом рассвете слепительно прорезал небосклон и засверкал на дальнем минарете. И мнится, что отвергнутому мне единое осталось утешенье, — не наяву, хотя бы лишь во сне, преодолев в груди сердцебиенье, подняться на высокий минарет, устами недостойными своими произнести в сиреневый рассвет твое благоухающее имя."

Одним из наиболее известных в Харбине поэтов был А. А. Ачаир (Грызов). Болезненного вида, с лицом аскетически худым, нервный, впечатлительный, он, как рассказывали, вернулся с войны стопроцентным инвалидом, с тяжелыми последствиями контузии, но железной силой воли и упорной работой над собой сделал себя вновь полноценным человеком и занял видное общественное положение в нашем городе. Он писал много, издал несколько сборников. Позволял себе ряд «поэтических вольностей». Но стихи его были текучи,

певучи, легки и в них была своя мелодия, шедшая где-то позади и параллельно прямому смыслу его рифмованных строк.

Кроме философских и абстрактных стихов, у Ачаира было много стихов, посвященных его родной Сибири и, так же как и у Несмелова, его душе были близки и находили себе выражение в его творчестве национальные, глубоко патриотические настроения.

Харбинские «Вечера под зеленой лампой» неразрывно связаны с именем А. А. Ачаира. Он их организовал и приютил в ХСМЛ, где работал. Главной приманкой этих сборищ была мелодекламация Алексеем Алексеевичем своих стихов под собственный, им же самим сочиненный аккомпанимент. Он их полуговорил, полупел — еще одна грань его творческой личности.

Одно время он пристрастился к коротеньким стихотворениям афористического характера, в которых зачастую находило выражение его поэтическое «кредо»:

> "Я сам себе сказал — пиши! Ведь люди хлеб едят не даром. И возвратились гонораром мне плоть и кровь моей души."

Грустно вспоминать теперь о тех днях, о тех вечерах, после которых мы возвращались домой шумной толпой, взявшись за руки и заняв своей веселой цепью всю мостовую широких, в тот час уже пустынных, улиц Нового Города, со смехом, с шутками, вспоминая и повторяя отдельные строки, или продолжая начатый спор, или напевая сентиментальный романс; грустно не потому только, что все это невозвратимо как невозвратима сама молодость, но и потому, что многие из тех, кто был тогда с нами, в полном расцвете своих сил и дарований, трагически закончили свои дни, не завершив, как говорили в старину, своего жизненного поприща, или получив в удел испытания, столь тяжкие, что говорить и думать об этом почти невозможно. В числе последних был и Алексей Алексеевич. Но мне хочется верить, что там на далеком севере, в какие-то более

светлые и спокойные минуты его навещала его верная Муза и приносила ему утешение, ибо он был и, вероятно, до конца жизни оставался подлинным поэтом.

Мне хочется вспомнить еще одного харбинского поэта и писателя. Он принадлежал к старшему поколению, но все свои зрелые годы провел в Харбине. Я имею ввиду В. С. Логинова. Сын богатых фабрикантов, он был плохо приспособлен к трудовой эмигрантской жизни, да и по характеру своему мало подходил для систематической, будничной работы. Он был настоящим представителем богемы. Служить нигде не хотел, да, вероятно, и не мог. Жил журналистикой, временами впадая в горчайшую нужду, но философски переносил лишения и неудачи. Он был фанатиком Сунгари и солнцепоклонником. С первыми весенними лучами он перебирался на жительство на тот берег реки, где, закрывшись у себя в какой-нибудь промозглой клетушке неотапливаемой сунгарийской дачи, он мог целыми ночами просиживать над Гомером и потом с неподдельным восторгом говорить о той неисчерпаемой красоте, которую он умел находить в мерных строфах классического гекзаметра.

Логинов писал и стихи, и прозу. У него были прекрасные рассказы, сибирские и уральские, вошедшие в сборник «Ял Мал».

Василий Степанович был болезненно самолюбив, высоко ценил свой талант писателя и поэта, был крайне нелюдим и запущен. Весь насквозь прокуренный, одетый во что придется, он ни в грош не ставил удобства жизни, одним словом являл собой пример одного из тех способных чудаков, которых немало было раньше на Святой Руси.

В жаркие летние дни группа журналистов, среди которых был и Логинов, располагалась на участке песчаного берега Зотовской протоки, против дачи хорошо известного в Харбине общественного деятеля И. Т. Щелокова. К их компании принадлежал также и князь Н., увезенный в 1945 г. в Союз и попавший там на каторжные работы. Все они целыми днями жарились на жгу-

чем маньчжурском солнце, купались, загорали до черного китайского загара. Иван Тихонович их подкармливал. На его затянутой виноградом укромной верандочке, или за деревянным столиком, возвышавшимся над самой рекой, распивались бесконечные чаи, осушались бессчетные рюмочки водки, велись нескончаемые споры на все темы, политические, литературные, общественные. Увы! Иван Тихонович тоже разделил общую судьбу, а дачка его осела, облезла, деревья погибли, виноград исчез, она опустела и стала медленно умирать, потеряв своего хозяина.

У Логинова, как большого любителя поэзии, была одна книга, за которой много лет я безуспешно охотилась, теория стихосложения. Василий Степанович хранил ее как зеницу ока и хотя временами остро нуждался ни за что не хотел с ней расстаться. В один зимний вечер, видимо, «дойдя до точки», он принес мне эту книгу, сам назначив за нее цену. Она до сих пор у меня. Перелистывая иногда ее страницы, я вспоминаю глуховатый голос Логинова, скандирующего стихи, сумрачный взгляд его маленьких глаз, его невеселую жизнь и одинокую, вероятно, никем не оплаканную смерть, дату которой я даже не могу назвать: она затерялась, растворилась в тяжелом тумане тех горестных, сумбурных лет...

У меня возникает в памяти еще один женственный облик поэтессы, начавшей писать в Харбине, потом уехавшей в Шанхай и вновь вернувшейся в свой родной город, чтобы жестом отчаяния закончить тут свою недолгую жизнь. У нее был очень нежный, очень лирический талант.

Она писала трогательные стихи своей маленькой девочке, но ни молодость, ни ребенок — ничто не смогло удержать ее на земле. Осенью 1945 г. ее муж был арестован и вывезен в Союз. Она осталась... и не выдержала...

"У тебя глаза, как шоколадинки, а голос, что бубенец. Ротик твой, моя малютка, сладень-

кий, как розовый леденец. ...Глазаньки твои такие верные, что быть бы тебе святой. А умчишься, детка, дикой серною, как я, за большой мечтой."

Не буду перечислять других имен. Харбинцы, любители поэзии, вероятно их не забыли. Скажу только несколько слов еще об одном писателе и поэте, еще до войны уехавшем из Харбина в Шанхай, а оттуда перекочевавшем в Союз и как будто мирно окончившем там свои дни. Помню, что он выпустил толстую книгу «Мы» и стихотворную «Беженскую Поэму». Я говорю о В. Н. Иванове и вспоминаю его просто потому, что он был такой большой, такой полнокровный и колоритный, такой талантливый; потому, что его приятно вспомнить, что он своей огромной, толстой фигурой и звучным голосом красочным пятном выделялся на общем фоне. Однажды в кабаре «Фантазия», под звуки джаза, под стук ножей и вилок, он в десять минут написал мне на бумажной салфетке безукоризненный и по форме и по мысли сонет. А как-то в другой раз, когда мы сидели на веранде Яхт-Клуба, слушая тихий говор струящейся внизу реки, наслаждаясь прохладой летней ночи, — он вдруг поднялся из-за столика во весь свой большой рост и начал своим полным, звучным голосом декламировать оду Овидия, обращенную к звездному небу. Всем, даже не знающим латинского, была понятна красота этих чеканных строк и когда он замолк публика разразилась бурными аплодисментами.

ЖЕРТВЫ БЕЗВРЕМЕНЬЯ

Русская эмиграция по праву гордится целой плеядой выдающихся деятелей науки, искусства, техники, которые щедро своими трудами и талантами отблагодарили приютившие их страны. В первые годы после

революции, мощная волна представителей русской элиты, хлынувшая заграницу, по своему блеску, по своему внутреннему удельному весу, может считаться явлением исключительным, не имевшим себе прецедентов в мировой истории, которое вряд ли когда-либо повторится. Но наряду с теми, кому удалось выйти на широкую дорогу и потрудиться для общего блага на избранном ими поприще, были и другие, тоже одаренные люди, которые в нормальных условиях тоже могли бы выдвинуться и полностью осуществить свои творческие возможности, но разменялись по мелочам в тяжелой борьбе за существование и были смыты в забвенье мутной волной житейских, эмигрантских будней.

Вспоминаются здесь несколько человек, жизнь которых проходила в Харбине, у нас на глазах. Все они в условиях эмигрантского быта, оторванные от родных корней, не смогли посвятить себя любимому делу, углубить и расширить отпущенные им природой таланты и раскрыть, так сказать, свой «творческий потенциал». Судьба их горькая, путь тяжелый, конец большей частью трагичный, безвестный и немой.

Вот певица, Мария Александровна. Когда-то готовилась она к большой оперной сцене. В ее репертуаре были все роли лирико-колоратурного сопрано. В те годы, когда я встретилась с ней, она была уже немолода, но все еще сохранила свойственный ей светлый, легкий звук голоса и первоклассную технику.

Когда Мария Александровна приехала в Харбин, оперы в городе не было, не было той большой сцены, о которой она мечтала. Денег тоже не было. Позднее, как я упоминала, в город была привезена из Москвы прекрасная оперная труппа, но попасть туда со стороны, особенно с эмигрантским паспортом, было невозможно.

Но петь хотелось, петь было нужно; никакой другой профессии у Марии Александровны не было. Она не знала даже пишущей машинки, этой благодетельницы, которая своим неумолчным стрекотом подняла на ноги не одну эмигрантскую семью. Оставалась эстрада и Мария Александровна начала выступать в популяр-

ном ночном ресторане «Фантазия»; публика ее любила. Но это было не то, не то... Мелкая монета искусства, когда мечталось совсем о другом. Правда, все-таки сцена, хмель успеха, эффектные туалеты, перья, театральная мишура. А время шло и незаметно все дальше отодвигалась возможность посвятить себя «настоящему» искусству.

Я познакомилась с Марией Александровной только в 1945 г. Времена изменились. Жизнь потускнела. О прошлом напоминали только каким-то образом уцелевшие и никому уже ненужные мишурные тряпки. Единственного близкого ей человека арестовали и увезли в Советский Союз: он был журналистом. Стареющая, отяжелевшая, нищая... Петь, выступать было негде — да и время ее прошло. На своем чердачке, где-то на одной из боковых улиц Пристани, она начала давать уроки пения. Давала с любовью, ставила голоса, разучивала репертуар, но зарабатывала гроши. Чем жила, как существовала — одному Богу известно. В конце концов, незадолго до нашего отъезда, Мария Александровна уехала в Чаньчунь на службу в китайскую музыкальную школу и след ее для меня затерялся, вероятно, навсегда.

Время от времени наш невеселый дом навещала художница Ольга Димитриевна. Ее присутствие действовало на меня угнетающе. Во всем ее облике было что-то трагическое. Большие, черные, как-будто немигающие глаза. Коротко, по-мужски остриженные седые волосы с низко спущенной на лоб челкой. Я никогда не видела на ее лице даже тени улыбки. Держалась она прямо, как-будто скованная; одевалась во что-то темное, длинное, без малейшего женского кокетства. Ходила медленно. Говорила глуховатым голосом без всяких интонаций, и всегда что-нибудь тяжелое, страшное: «Иду по улице и вижу у многих за спиной как-будто черные крылья... Снился Сергеев, а над ним крышка гроба, то опустится, то подымется...»

У Ольги Димитриевны было законченное художественное образование. На устроенном однажды в Харби-

не конкурсе ее картина получила первую премию. Писанная маслом, она называлась «Орлы на страже». Голая скала, сумрачное небо, на фоне которого две тяжелые, большие птицы как-бы застывшие в ожидании чего-то страшного, приближение чего они чуют своим звериным инстинктом. В этой картине вся Ольга Димитриевна.

Жила она в предельной бедности, в полуподвальной квартире, из которой после ареста мужа было продано все до последней плошки. Как она кормилась — для меня это загадка. Знаю только, что время от времени получала от Чурина небольшие заказы по художественной части.

Ольга Димитриевна осталась в памяти как одна из трагических жертв нашего безвременья.

В Модягоу, в маленькой квартире из двух комнат, жил один из самых оригинальных и самых милых чудаков, которых мне когда-либо приходилось встречать, Тигрий Иннокентьевич. В прошлом землемер, все еще носивший фуражку своего ведомства с цветной опушкой и форменную тужурку, он жил музыкой и для музыки. Все стены его маленькой столовой были завешены гитарами. Он обладал абсолютным слухом и помимо гитары был знатоком и любителем струнных инструментов вообще. Гитару, с ее женственными, округлыми очертаниями, он держал так нежно, как держат в объятиях любимую женщину. Тронув струны, он говорил, слегка склонив голову и прислушиваясь: «Не правда-ли, какой прелестный аккорд?» и в деке, замирая, гасли певучие звуки.

Целыми вечерами, под тусклым светом слабой электрической лампочки, Тигрий Иннокентьевич, низко склонившись над нотной бумагой, транспонировал для своих учеников старинные русские романсы: — «Я вновь пред тобою стою очарован...», «Не говори, что молодость сгубила...», «Он говорил мне, будь ты моею...», или аранжировал музыку для своего оркестрика из студентов-любителей, которому он отдавал все свои досуги.

У Тигрия Иннокентьевича было сухое лицо, с тонким, хрящеватым носом и разноцветные — один зеленоватый, другой карий — глаза. Он был очень близорук, носил старомодное пенсне и то и дело снимал и протирал его; думаю, от нервности и застенчивости.

Уезжать ему было некуда. Вызова получить неоткуда. Он был обречен оставаться в Харбине и я с ужасом думала о том, что ждет его с его гитарами, такого непрактичного и беспомощного. Он знал, что мы уезжаем и в один из наших последних вечеров в Харбине зашел проститься. В то время прощанья были навсегда: к этому нужно было быть готовыми и все это понимали. Был момент, когда Тигрий Иннокентьевич как-то странно как-бы захлебнулся звуком и замолчал посередине фразы. Я невольно вздрогнула и отвела глаза.

Будучи уже заграницей, я довольно скоро получила известие о том, как закончил Тигрий Иннокентьевич свою скромную, безответную жизнь. Он дирижировал своим оркестриком. Что-то не ладилось. Он разволновался, почувствовал себя плохо и тут же скончался от разрыва сердца. Это был чистой души человек и смерть ему судьба послала быструю и легкую...

Да, эти люди, в другие времена, могли бы плодотворно трудиться над любимым делом и радоваться жизни и радовать других своими талантами.

СУДЬБА ЯПОНЦЕВ

А осень в тот год в Харбине стояла чудесная. На набережной скромно зеленели подросшие за лето ёлочки, а над ними, над пустующими скамейками, едва шелестели, как будто тоже чем-то испуганные, медленно осыпавшиеся деревья; задумчиво покоилась акварельно синеющая даль, а опадающая Сунгари, теперь такая нестрашная после недавнего наводнения, обнажала, от-

ступая, свои золотые пески. Все в природе дышало миром и покоем.

Но жизнь кругом вскипала пеной злобы и ненависти. Она была до краев переполнена смятеньем, тоской, страхом... Наш тихий город, не тронутый ни революцией, ни войной, сторицей расплачивался теперь, уже после окончания Великой войны, за свое былое благополучие и обывательское, безмятежное житье.

В эти осенние дни 1945 г. многочисленное японское население Харбина — еще вчера господа положения, вдруг оказались выброшенными из обычного круга жизни. Для них внезапно, буквально в один день, кончилось все, на чем было основано их повседневное существование. Не стало службы, работы, торговли; все японские предприятия закрылись; закрылись японские школы, кафе, магазины, конторы, парикмахерские; прекратились обильные пайки и выдачи; население, как русское, так и китайское, заняло открыто враждебную позицию к своим вчерашним господам: вспомнились все обиды, притеснения, несправедливости; оскорбительная надменность, высокомерие... Некоторые хозяева прямо, без церемоний, выбрасывали на улицу своих японских жильцов со всеми их пожитками, мстя за прошлое. Были случаи самочинных расправ, вплоть до убийств. Не стало знаменитой Квантунской армии — она сдалась на милость победителя. Надменные японские генералы-самураи сломали свои шпаги и склонили перед победоносным врагом свои круглые, упрямые головы, покрытые щеткой черных, жестких как проволока волос. Гордая Империя Восходящего Солнца рухнула и болью отозвалось каждое японское сердце на обращенную к народу речь Его Величества Тенноо, говорившего о бесславном окончании войны, и слезы текли из узких глаз по пергаментным лицам, когда, низко, почтительно склоняясь перед радио-аппаратами, они слушали эти роковые слова.

Я пробиралась по одной из широких торговых улиц города, прилегающих к району пристанского базара. Небольшой сквер посередине кишел оживленной тол-

пой. Это был импровизированный рынок, где распродавалось японское добро. Тут и там мелькали китайцы, расхаживавшие в напяленных на них японских кимоно, которые они таким образом демонстрировали покупателям. Десятки, сотни таких кимоно предлагались также с рук на каждом шагу, вместе с отрезами шелка, бархата, с прелестными хаори, парчевыми оби, дорогими мужскими и женскими халатами... Продавцы кричали, жестикулировали, с жаром, на все лады, расхваливая свой товар.

И правда, некоторые вещи были на редкость красивы. Известно, что японцы отличаются тонким декоративным вкусом и являются первоклассными мастерами прикладного искусства. Дорогие кимоно из лучших шелков, с брошенными на них ветками цветущей сакуры, с трепещущими бабочками, вот-вот, казалось, готовыми вспорхнуть с гнущихся ветвей фантастически прекрасных цветов, или украшенные современными, стилизованными узорами, чарующими необычным и смелым сочетанием красок и линий — невольно останавливали внимание своим изяществом и тонкостью работы. Но мысль, что эти вещи сняты с живых людей, что они попали в новые руки и вынесены на улицу в результате насилия, быть может, преступления; что все это, в сущности, продажа краденого, невольно расхолаживала и заставляла нетерпеливо отстранять от себя этих назойливых купцов, которые буквально не давали вам прохода.

Кругом все шумело, кричало, зазывало, жестикулировало, кипело и бурлило, как в котле. На мостовой, ближе к базару, раскинулись импровизированные китайские харчевки. Веселые повара, в белых куртках, блестя глазами и зубами, перекидываясь шутками с толпящимися покупателями, искусно месили тесто, бесконечно скручивая и раскручивая белоснежные, мучнистые жгуты, ловко подкидывая их в воздух, ловя и вновь подкидывая, мастеря знаменитую китайскую лапшу. Стуча ножами, рубили на больших досках фарш для пельменей, которые варились тут же в огромных чу-

гунных котлах; в медных чанах жарили в кипящем бобовом масле пирожки, хрустящие, золотистые, горячие, как огонь, обжигающие и руку, и рот... И тут же беззаботная, смеющаяся толпа — еще вчера приниженная, молчаливая, пасмурная, забыв все и как дети наслаждаясь минутой, за деревянными, сбитыми кое-как столиками, сидя на колченогих скамьях под легкими парусиновыми навесами, уничтожала все эти яства, запивая их чаем из огромных, пускающих пар и пронзительно свистящих китайских самоваров. Этих гастрономических удовольствий люди были лишены почти в течение всей войны и теперь, ничему не удивляясь, не спрашивали себя, откуда-же вдруг каким-то чудом появилось в таком изобилии все то, что еще каких-нибудь месяц-полтора назад нельзя было достать ни за какие деньги: и белоснежная сонхошиновская мука, и золотое бобовое масло, и сочное мясо чушки для пельменей; и откуда взялись, как из под земли, эти энергичные китайские предприниматели, которые, как ни в чем не бывало, как будто и не было этих тяжелых лет притеснений, обид, насилия, нехваток, скудости жизни, принялись за свое любимое дело — зазывать покупателей, продавать, зарабатывать и с упоением торговать, торговать, торговать...

Тут же прохаживались небольшими группами, присаживаясь к столикам, приторговывая себе то кусок шелка, то особенно приглянувшееся яркое кимоно для какой-нибудь своей Тани или Маруси там, на далекой родине, офицеры и солдаты оккупационной Красной армии, такие «русские» среди этой азиатской толпы и такие в то же время «чужие»; они с любопытством присматривались к этой красочной, своеобразной жизни, кипящей вокруг, столь непохожей на жизнь там, «у себя».

По сторонам центрального потока расположились «сидячие» купцы. Здесь были и китайцы, но было много и японцев и прежде всего японских женщин, которые вышли на улицу, чтобы, продавая свои вещи, добыть средства к жизни.

В первые месяц-два после оккупации японцы исчезли, стушевались, их нигде не было видно. Они старались стать как можно незаметней, как-бы растаять, чтобы не бросаться в глаза. Многие мужчины были арестованы, многие, из более видных, убиты в первые же дни, когда в городе царили еще полный хаос и неразбериха; некоторые, наиболее преданные идее японского империализма, сделали себе харакири; другие, переодевшись в китайское платье, скрывались в китайской части города, Фудядяне, а выходя, старались смешаться с китайской толпой; и все были взяты на учет.

Но время шло... Становилось не на что жить. И вот, постепенно, японские женщины, уже теперь совсем другие, в будничных гладких прическах, в простеньких бумажных кимоно, с невеселыми плоскими лицами без всякого признака макильяжа, которым раньше они сильно злоупотребляли, стали появляться на улицах Харбина. Где-нибудь с краю тротуара расстилалась большая рисовая цыновка; по краям ее закрепляли кирпичами или камнями. На ней раскладывался «товар»: тарелки, чашки, кастрюли, тазики, бумажные отрезы, обувь, будильники, веера, книги, электрические плитки и утюги; редко что-нибудь более ценное — это более ценное было уже начисто ограблено, отнято, изъято, или чинами армии-победительницы, или же китайцами, которые в свое время много претерпев от своих японских владык, не упустили случая, особенно в первые дни полной перестройки всей жизни, основательно нагреть себе руки и поживиться чем можно.

Казалось, никого не удивляло, что вчерашние хозяева Маньчжурии, их жены и дети, вот тут, на грязной мостовой, под ногами кипящей толпы, вывернув содержимое своих шкафов и сундуков, за гроши продавали свое достояние и были благодарны за каждый доллар, который, с снисходительной важностью, подняв полу халата и запустив руку в бездонную глубину своих синих штанов, бросит им проходящий китаец.

Я медленно двигалась, лавируя, иногда рассеянно поглядывая по сторонам и бессознательно вбирая в се-

бя, как бы механически фотографируя в памяти, картины этого нового своеобразного быта, такого ни на что не похожего, такого тягостно-непонятного для тех, кто не знал породивших его условий.

Вдруг, сама не отдавая себе отчета, почему, у меня чуть-чуть сжалось и на какую-то долю секунды как-будто остановилось сердце. Мой взгляд на миг задержался, встретив другой взгляд темных, непроницаемых глаз. Но это было одно мгновенье... Наши взоры разошлись. Темноволосая голова склонилась к лакированной тарелочке в смуглой руке. Нахлынувшая толпа скрыла от меня знакомую фигуру в сером мужском кимоно, низко подпоясанном черным широким поясом, присевшую на корточках возле желтой рисовой цыновки с разложенными на ней для продажи разными мелкими домашними вещами.

Не останавливаясь, не оборачиваясь, я прошла дальше. Да, это был он. Это был мой друг Шигено. Как, неужели и этому гордому человеку пришлось пройти через это унижение — часами терпеливо ждать, чтобы равнодушная рука швырнула ему грош на грязную мостовую?

ШИГЕНО

Я узнала семью Шигено всего несколько месяцев назад. Нам приходилось очень трудно. В нашей большой квартире три комнаты были заняты японскими жильцами — в городе шло уплотнение квартир — и вот уже девять месяцев, как они, будто сговорившись, перестали платить аренду. Мы обращались в соответствующий административный отдел. Там пожимали плечами: «Сейчас война. Их мужья в армии: нужно потерпеть, ничего не поделаешь...» Шли в Военную Миссию. Там обещали разобраться, «хотя, в сущности, это не

наше дело.» Мы заявили протест в полицейский участок нашего района; все напрасно. Более того: толстая и всегда почему-то надутая японка Сакумото, густо набеленная и накрашенная, увенчанная настоящей башней сооруженной из черных как смоль волос, пронзенных двумя золотыми стрелами, устроила в своей комнате японское «татами» и так как моя европейская обстановка была ей больше не нужна, она, не задумываясь и не спросив меня, продала все вещи, а деньги положила себе в карман. Время от времени жильцы съезжали, на их место являлись другие; иногда комнаты стояли пустыми, но были заперты на замок. При таких условиях нам становилось все труднее и труднее платить за квартиру и мы подумывали о том, не бросить ли все и переселиться куда придется. Но и это было проблемой: город переживал острый жилищный кризис и все освободившиеся помещения немедленно, по ордерам, занимали японцы.

В одно прекрасное утро наш хороший знакомый, Петр Петрович, переводчик японского языка, явился к нам с интересным предложением. Он знал одну японскую семью, недавно приехавшую в Харбин. Это были хорошо обеспеченные люди, из приличного общества, люди, с которыми можно было иметь дело, не боясь осложнений. Они искали квартиру. Не согласимся ли мы отдать им все три комнаты? О теперешних квартирантах беспокоиться нечего — мы избавимся от них в мгновенье ока. Условия предлагают хорошие, но о подробностях, если мы принципиально согласны, договоримся сами. Глава семьи, по словам Петра Петровича, занимал ответственный пост: он был заведующий распределением продуктов среди японского населения Харбина. В качестве дружеской услуги, он выражает готовность кое в чем помочь нам в отношении продовольствия, с которым становилось все хуже и хуже. Петр Петрович советовал согласиться. Так как нам терять было нечего, мы решили еще раз попытать счастья, хотя успели прийти к твердому убеждению, что никакие договоры, соглашения, расписки, а уж тем бо-

лее устные обещания, не имеют никакой силы, когда дело имеешь с японцами. Защищаться можно было только одним — не вступать с ними ни в какие отношения — но это было очень трудно, почти невозможно.

И вот через несколько дней чета Шигено явилась к нам для переговоров. Они произвели на нас хорошее впечатление. Он был еще молод, не более сорока, среднего роста, довольно коренастый, как вообще большинство японцев. Держался он со сдержанным достоинством, глаза смотрели пристально и спокойно. Жена его была чуть-чуть выше, для японки довольно высокая, стройная, с изящными руками. На ней было простое одноцветное кимоно: ее «оби» было заколото дорогой булавкой из нефрита.

Договорились мы очень быстро. Шигено сам брал на себя задачу выдворить наших жильцов. Денежный вопрос тоже не вызвал осложнений и особенно обрадовало его обещание доставать уголь для отопления всей квартиры в течение предстоящей зимы. Все устраивалось как нельзя лучше. Шигено говорил суховато, по-деловому. Госпожа Шигено время от времени улыбалась и кланялась.

Все это происходило примерно в середине апреля, а уже в начале мая наши дорогие квартиранты испарились без следа, без каких-либо споров и осложнений. В один прекрасный день, вернувшись с работы, я нашла двери всех трех комнат широко раскрытыми; на полу валялся всякий мусор, обрывки бумаги; доски и цыновки от «татами» были аккуратно сложены вдоль стены. На следующий день начался ремонт; все делалось быстро, толково, с большим вкусом. Через неделю привезли две новые варшавские кровати, а там, не теряя времени, явились и сами квартиранты.

Мне редко приходилось видеть более дружную, более счастливую семью, чем семья Шигено. У них было три девочки; старшая, Томико, лет тринадцати, выглядела и держалась как маленькая женщина. Средняя, веселая толстушка, со своим круглым румяным личиком, тоже была очень мила, но общей любимицей была

младшая, совсем еще ребенок, которая забавно переваливалась на своих маленьких пухлых ножках.

Их спальня находилась как раз за стеной нашей и мы часто слышали по утрам шум происходившей у них веселой возни. Взрывы смеха, перебивавшие друг друга оживленные детские голоса вперемешку с голосом самого Шигено. Потом, около восьми, он отправлялся в контору. За ним уходила в школу старшая девочка; на ней была форма: плиссированная темно-синяя юбка и матроска. Немного позднее появлялись остальные. Было приятно смотреть, как девочка постарше нежно и заботливо обращалась с порученной ей младшей сестренкой в то время как мать отправлялась на базар, или принималась готовить на кухне.

У них было всего вдоволь, и все было хорошее, дорогое. Великолепные кастрюли всевозможных размеров; какие-то особые приспособления для варки риса, для рыбы; чайники новейших фасонов, сковороды, противни. В то время русское население Харбина нуждалось почти во всем: было плохо с мясом, исчезла мука, хлеб выдавался по карточкам; белый — только детям и старикам; не стало сахара, сала, риса, меда. Но у Шигено всего этого было более, чем достаточно.

В один из первых вечеров после своего переезда г-жа Шигено, предварительно постучав к нам, вручила мне, кланяясь и улыбаясь, бумажный пакет, в котором оказалось три дина белого сахара. На следующий день, с такими же церемониями, она протянула мне флакончик французских духов — тогда это было редкостью. Ни по-русски, ни по-английски она не говорила, а мое знание японского языка было настолько элементарно, что мы могли только обмениваться молчаливыми выражениями взаимной симпатии. Сам Шигено прилично объяснялся по-английски и мы с ним прекрасно понимали друг друга.

Как-то вечером он пригласил нас к себе и усадив за низкий лакированный столик, на котором в прозрачных чашечках дымился бесцветный японский чай, он

стал объяснять нам, как ему неприятно видеть нередко несправедливое и грубое обращение японцев с русским населением. Это происходит потому — сказал он — что в Харбин понаехало много плохих, недостойных японцев; ему стыдно за них, но теперь, когда идет война, исправить тут что-либо очень трудно. Что касается его самого, то он джентльмен, хозяин своего слова и друг русских.

Ему известно, сказал он дальше, что моя мать больной человек, что ей нужен сахар и белый хлеб, и вот он просит меня, как доказательство наших дружеских отношений, принимать от него каждый месяц немного сахара и пшеничной муки. Кроме того, он предложил доставать для нас некоторые самые необходимые продукты через центральный японский кооператив.

С нами Шигено держался, как равный. С приходившими к нему японцами, видимо подчиненными, говорил, как власть имущий, коротко, слегка высокомерно. Японцы перед ним сгибались в три погибели, приседали, шипели. Почтительно выслушивали его распоряжения. Иногда у нашего подъезда останавливались шикарные машины. Выходили пожилые японцы в темных кимоно, со строгими, замкнутыми лицами. Их сопровождали молодые секретари и адъютанты, почтительно отворявшие дверцы авто, указывавшие дорогу. Этих гостей Шигено лично провожал вниз до самой машины, низко кланяясь, замирая, в склоненной позе, со сложенными руками и быстро, быстро произнося условные формулы прощальных приветствий. После одного из таких посещений он сказал мне: «Вы видели этого пожилого господина? Это — большой человек, большой начальник. Он завтра возвращается в Японию для доклада самому Императору.»

За две недели до объявления Советским Союзом войны Японии Шигено явился домой в защитной военной форме. Мы знали, что все японцы, способные носить оружие, были мобилизованы для организации городской охраны и подвижных вооруженных отрядов

на случай возможных беспорядков. Потом он исчез.

В августе 1945 г. в Харбин вошла советская армия. Война с Японией была закончена.

Изредка в коридоре я сталкивалась с Шигено. Он казался похудевшим, каким-то угасшим. Я не решалась обратиться к нему со словами сочувствия: слишком велика была катастрофа, происшедшая в его личной жизни и в жизни его страны. Военную форму он снял и ходил в китайской куртке и темных брюках. Мне казалось, что он часто ночует где-то в городе. Но в ту ночь в конце августа, когда из нашего дома «взяли» двоих, он был у себя. Я чувствовала за их дверью притихшую, настороженную тишину, — тишину, в которой, замирая, быстро бьется встревоженное человеческое сердце. И он должен был слышать, как к нашему дому подъехал грузовик и остановился; как хлопнули внизу входные двери и раздался негромкий, осторожный звонок; как после коротких переговоров через цепочку, в прихожую, тяжело ступая, вошли трое; как у нас начались торопливые, тревожные сборы, и как эти трое ушли, стараясь не шуметь и уводя с собой четвертого.

Утром я столкнулась с Шигено в коридоре. Он задержался, взглянул на меня вопросительно. «Мастер?» — произнес он. Я опустила голову. Говорить было трудно. Он тоже молчал. Потом взял меня за руку. Как будто что-то дрогнуло в его сумрачном лице. Он резко отвернулся. Мы разошлись.

Время шло... Сентябрь был на исходе, тихий, солнечный, очаровательный. Но ничто не веселило, не радовало. Кругом было столько горя, столько слез, тревог, опасений, что мы жили как в каком-то тяжелом сне и казалось невероятным, чудовищным, что вот, неожиданно, ни с того ни с сего, на нас свалились все ужасы военной оккупации и советская власть через тридцать лет начала жестокую расправу за все бывшее и небывшее...

НАВОДЧИК

В три часа дня я шла по нашей улице, возвращаясь со службы. Шла не торопясь, нехотя, неотступно думая о своем. Со мной шел Николай Иванович и как всегда старался занять меня разговором и отвлечь от тяжелых мыслей.

— Смотрите, сказал он вдруг, какая подозрительная компания! Куда это они направляются?

Нас обогнали два красноармейца и высокий юноша в черной гимназической куртке. Лицо его мне показалось знакомым. Солдаты были совсем мальчишки с бледными, худыми лицами, в плохо пригнанных шинелях, с автоматами через плечо.

— Определенно, сказал Николай Иванович, здесь что-то не так. Ну-ка, пойдем поскорее.

Мы прибавили шагу. Около моего дома группа задержалась. По бумажке проверяли номер на двери. «Здесь», сказал молодой человек. Они гурьбой вошли в подъезд. Николай Иванович задержал меня.

— Не ходите... Сначала посмотрим, в чем дело... А береженого и Бог бережет...

Но я стала решительно подыматься по лестнице.

Дверь в нашу квартиру была раскрыта настежь. Солдаты и их проводник стояли в прихожей, пытаясь что-то объяснить г-же Шигено, которая, ничего не понимая, с бледным, испуганным лицом стояла на пороге своей комнаты.

— Обыск, сказал молодой человек.

Теперь я узнала его: это был некто Чашин, ученик местной гимназии.

— У нас есть сведения, продолжал он, что здесь хранится оружие.

— Ордер есть? — спросила я.

— И без ордера ладно, вмешался один из солдат, и не обращая больше на меня никакого внимания и грубо отстранив японку, все трое двинулись вперед.

И вот началось. Они бросились к шкафам, к сундукам, к чемоданам. Полетели на пол кимоно, детские

шубки, белье, отрезы материалов. В какие-нибудь несколько минут перед нами была картина полного разгрома. С окон были содраны занавеси, со столов скатерти; ковры сдернуты с пола и безобразной кучей свалены в углу. Посреди комнаты появились увязанные узлы. Потом налетчики спохватились, что ведь они пришли искать оружие. Один из солдат подскочил к г-же Шигено, приставил ей штык к груди и грубо заорал:

— У ты, дрянь, японка проклятая! Говори, револьвер есть?

Она стояла неподвижно, прямая, бледная, прижимая к груди насмерть перепуганную младшую девочку; другая жалась у ее ног. Она старалась улыбаться и все твердила дрожащими губами: «Ватакуси ва, ватакуси ва?» (Что надо, что надо?).

Тут я не выдержала.

— Как вам не стыдно, товарищи, вскричала я, на миг выйдя из состояния апатии. — Какое у нее оружие? Оставьте ее в покое. У нее семья, дети. Ведь зима идет. В чем дети будут ходить? На что вам эти тряпки?

Тут, видно, у другого солдата что-то заговорило в душе.

— Да брось ты, Петька, что в самом деле связался с бабой, сказал он. — Вот посмотрим еще, да и айда!

Петька, совершенно, как я теперь рассмотрела, пьяный, бросил японку и начал уж совершенно бессмысленно тыкать штыком в постель и подушки. Потом полез зачем-то под кровать. В это время мой взор невольно скользнул в соседнюю комнату. Чашин, торопливо оглянувшись, вывинчивал лампы из стоявшего в углу дорогого радио-аппарата и так же торопливо сунул их себе в карман. Потом он вышел к нам.

— Эх вы, сказала я с отвращеньем, — и вам не стыдно? Ведь вы же русский, интеллигентный человек!

Глаза его бегали. Он не смотрел на меня. Его роль наводчика была слишком очевидна.

— Ладно, ладно, сказал он. — Пошли, товарищи. Видно и правда здесь ничего нет.

Пьяный солдатишка еще покуражился для фасона, потом, вскинув автомат на плечо, как-то изогнулся и прошмыгнув мимо меня к двери, ловко подхватил на ходу один из стоявших там чемоданов и был таков. За ним последовали остальные.

В прихожей и на площадке лестницы толпились любопытные. Я бесцеремонно вытолкала их прочь, закрыла дверь, заложила цепочку и вернулась в комнату.

Госпожа Шигено попрежнему стояла посреди своей спальни с девочкой на руках. Она казалась совершенно спокойной, но была бледна, как полотно. Оказалось, что сам Шигено был дома. Услышав шум, он успел выскользнуть на чердак через черную лестницу. Если бы его нашли, его бы забрали. Когда он спустился, на него было жалко смотреть. Что он пережил, сидя на чердаке, ожидая всего, дрожа за семью и не смея вступиться из страха еще больше ухудшить положение? Он молча опустился в кресло и закрыл лицо руками. Я вышла.

ЕЩЕ ОДНА ДРАМА

Потом наступила зима, печальная, безрадостная зима. О том, чтобы переезжать куда-то я и не думала, да и Шигено сам просил меня остаться. Квартира была на мое имя и мое присутствие до известной степени гарантировало им безопасность.

Иногда он заходил ко мне, спрашивал, нет ли известий? Но известий не было. Он молчал, вздыхал, говорил несколько дружеских слов.

Это случилось в воскресный, жаркий июльский день. С полудня я стала замечать, что в нашей квартире творится что-то необычайное. Хлопают двери. Приходят и уходят люди. Идет почти беспрерывный тихий разговор. Потом как-будто что-то пронесли; потянуло

запахом японских курительных свечей.

Я вышла в коридор. Дверь в комнату напротив была полуоткрыта. На диване лежало что-то длинное, закутанное в белое покрывало. На стуле рядом, склонив темную головку, неподвижно сидела г-жа Шигено. Мне стало тревожно, не по себе. Я отступила на шаг, все глядя, стараясь понять и уже предчувствуя беду. Потом тихонько закрыла дверь.

Навстречу мне по коридору шел Шигено. «Шигено-сан», начала было я. У него вырвался странный звук, похожий на сдержанное рыдание. «Томико, Томико, моя девочка, — прошептал он, — Сунгари».

Он схватил меня за плечи, опустил голову и заплакал. Я стояла потрясенная — наша милая, стройная девочка! Как это могло случиться? Что это за ужас? Я не находила слов. У меня самой на глазах стояли слезы. Какой страшной, какой невыносимо жестокой показалась мне жизнь, не щадящая никого, неторопливо выбирающая себе жертву, чтобы беспощадно обрушить на нее свой смертельный удар.

Оказалось, что утром Томико и ее подруга с матерью отправились купаться на Сунгари. Девочка попала в омут — Сунгари коварная река — и стала тонуть. Томико бросилась ее спасать и обе погибли.

Счастливой, беззаботной семьи больше не существовало. Осталась совершенно убитая горем молодая мать, двое растерянных, несчастных малышей и отец, затравленный, полный страха за будущее и совершенно беспомощный.

Семью Шигено спасла от полного отчаяния перемена, происшедшая в судьбе японцев остававшихся в Харбине. Была объявлена репатриация. Город разделили на участки. Для каждого участка был назначен начальник. У нас, как самый уважаемый человек, был выбран Шигено. И тут его деятельная натура нашла себе выход. К нему приходили за советом, за указаниями. Он составлял списки, регистрировал имущество, через него передавали его группе распоряжения вла-

стей. Каждый уезжающий японец имел право взять с собой лишь 15 клгр. вещей. Все остальное, как нажитое в Маньчжурии, должно было быть оставлено китайскому народу.

Г-жа Шигено стала еще тоньше, еще бледнее и нередко я видела, как она неподвижно сидела, склонив темноволосую головку, подолгу не меняя положения, устремив глаза в какую-то далекую точку и думая об одном, всегда об одном и том же...

Мы простились с ними накануне отъезда. Грустное это было прощанье. Я теряла друзей; они, уезжая, увозили с собой свое горе, которое было еще так свежо, так живо...

Утром, с третьего этажа, я наблюдала японский исход из Харбина. Были поданы телеги, десятки телег. На них уложили вещи. По приставленным лесенкам вскарабкались женщины и дети и взгромоздились поверх вещей. Мужчины должны были идти пешком.

Шигено, в темной куртке и толстых ботинках, отдавал последние распоряжения. Телеги нашей улицы тронулись и влились в общий поток.

Из соседней лавки выбежал толстяк Чин-фу. Он подбежал к Шигено и стал, что-то взволнованно говоря, совать ему в руки какой-то пакет. Это, как потом оказалось, он на дорогу достал для его семьи немного колбасы и хлеба. Он забыл, как грубый японский полицейский делал у него обыск, ища рис, сахар и другие запрещенные товары; как беспощадно штрафовала его японская экономическая полиция; как он три месяца, по доносу, просидел в тюрьме на одном гаоляне; как бил его по лицу наотмашь, спокойно, беспощадно, методически, японский унтер... В этот момент он был только человеком — свидетелем горя и унижения других, подобных ему, людей и, как человек, протянул дружескую руку, в которой был дар человеческого сострадания, сознание человеческой солидарности перед лицом беспощадной судьбы.

Что-то дрогнуло в лице Шигено. Он низко покло-

нился, сказал несколько слов, взял пакет и быстро зашагал за удалявшимися телегами. На его груди висел деревянный ящичек с прахом Томико, который он увозил к себе на родину.

РОЛЬ СОВЕТСКОГО КОНСУЛЬСТВА

Весной 1946 г. советские войска ушли из Маньчжурии. Им на смену пришли китайские коммунисты. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее жизнь в разгромленном, опустевшем Харбине начала менять свой облик.

Нам были выданы временные советские виды на жительство. Прав советского гражданства они не давали; о том, чтобы мы могли по собственному желанию выехать в Советский Союз и речи не было. В то же время, теоретически, мы как-будто находились в ведении и под защитой Советского консульства и созданного им в качестве посредника между нами и местными властями недоброй памяти Общества Советских Граждан. На самом же деле мы оказались в положении совершенно бесправных людей. Советская власть, в лице своих представителей в Харбине, откровенно начала высказывать нам свое пренебрежение и Советское консульство не только не распространило на нас свое покровительство, но где только могло дискредитировало нас в глазах китайцев, осложняя этим нашу и без того тяжелую жизнь.

Все, все в поведении людей «оттуда» в отношении нас было оскорбительно и задевало наше самолюбие. Запрещение «советским» бывать у харбинцев, которые в первые дни оккупации, с наивным восторгом, широко открыли свои двери чинам Красной армии — за что многие тяжело поплатились. Они подчеркивали свое нежелание смешиваться с нами, или вообще иметь

с нами какое-либо общение. Так, в театре, «советские» были отделены от прочей публики барьером, не метафизическим, а самым настоящим, из дерева и железа; затем они и вовсе перестали посещать общественные места, где могли столкнуться с харбинцами, а проводили свои досуги и развлекались в консульском клубе, куда доступ простым смертным был закрыт. Советские дети, — но это, впрочем, было естественно, не посещали русских школ, в которых учились дети местных русских жителей, а ходили в особую консульскую школу. Приезжие из Союза артисты выступали только для консульских и для китайской верхушки; харбинцам удалось их повидать только в самые первые недели оккупации, когда стиль обращения с нами еще, видимо, не был окончательно выработан и вообще весь этот «режим презрения» не получил законченной формы. На улицах советские женщины, старавшиеся изображать из себя «дам», увешанные без всякого чувства меры и без малейшего признака вкуса чернобурками, бывшими в то время в большой моде, смотрели сквозь нас и мимо нас, не удостаивая нас замечать: мы для них просто не существовали. Никогда не обращались с вопросом, никогда не заговаривали, что было бы так естественно, а если даже раньше встречались с кем-нибудь из нас — (по необходимости они бывали у наших врачей, у портних и т. п., или знали кое-кого по своей работе в консульстве) — никогда не раскланивались, ибо это, очевидно, было им строжайше запрещено.

Вскоре нам был закрыт доступ в главное здание консульства и нас стали принимать в небольшом железнодорожном особняке поблизости, причем единственно кто вел с нами всевозможные переговоры была консульская сторожиха, простая, грубая баба. Сама персона консула была вне пределов нашей досягаемости.

При таких условиях оставалось лишь удивляться, что некоторые из харбинцев все же изо всех сил старались как-то выразить при случае свой советский патриотизм, который был абсолютно никому не нужен.

Было слишком ясно, что для Советского правительства мы просто не существовали, как большая, полезная и нужная сила, как люди, равные людям с «большой земли»... И это было оскорбительно и противно!

ОТНОШЕНИЕ КИТАЙЦЕВ

Чувствуя и видя, что местные русские не имеют ни поддержки, ни покровительства «своего» консульства, и китайцы стали постепенно менять свое отношение к нам. Усилился контроль над личной жизнью: «На что живете?»; «Кто ваши друзья?»; «С кем переписываетесь заграницей?» — Исчезла личная неприкосновенность. Все мы знали ряд случаев, когда всеми уважаемых в городе лиц задерживали и месяцами держали в тюрьме, не предъявляя никакого обвинения, ничего не сообщая семье, по советскому образцу. Некоторые не выдерживали режима китайской тюрьмы и погибали. Началось экономическое давление — налоги, штрафы, расследования старых, «маньчжуговских» дел; конфискация имущества — особенно, если владельцы находились заграницей; уплотнение квартир, выселения... Правительство, широко скупая дома для своих нужд, выбрасывало из них квартирантов, причем по началу давало кое-что на переселение, но потом прекратило эти ненужные церемонии.

Опять начались нехватки продовольствия: то исчезал сахар; то не было жиров; то вводилась казенная выпечка хлеба и он превращался во что-то совершенно несъедобное. Были «холодные» зимы — когда трудно было с углем и дровами. Была зима без света: мы сидели с какими-то самодельными коптилками, а электричество было дано нам ввиде особой милости только на три дня Нового Года. Во многих домах перестал работать водопровод, полопалась канализация, остановилось центральное отопление. Из окон на улицу высуну-

лись закопченые трубы многочисленных буржуек и других отопительных сооружений всевозможных конструкций. Железные трубы — стоившие довольно дорого — часто прогорали и требовали замены, постоянно засорялись, коптили, дымили; мы ходили с черными носами; борьба с грязью становилась непосильной. Лично у нас был запас угля, были и дрова; но многие мерзли, буквально погибая от холода и не вылезая из шуб и валенок. Жизнь становилась все тяжелее и тяжелее, и морально, и физически.

НОВЫЙ КИТАЙ

И вот оказалось, что тот Китай, с которым мы остались с глазу на глаз после ухода из Маньчжурии советских войск, нам совсем незнаком. Он предстал перед нами в совершенно новом облике и только тогда мы поняли, с какой легкомысленной беспечностью большинство из нас, живя на самом краю того внутренне кипящего вулкана, каким был Китай в тридцатые и сороковые годы, просмотрели, как и когда зародились роковые перемены в жизни огромного народа. Как случилось, что мы не смогли разгадать в скрытом смысле менявшихся событий то, что для большинства разразилось совершенно неожиданно, подобно тому, как наша собственная «бескровная» свалилась нам как снег на голову и стала для нас реальностью лишь после того, как пошла давить и калечить жизнь под своими страшными жерновами?

Революцию, происшедшую в Китае, можно сравнить с геологическим сдвигом, с неким космическим обвалом, так как она вовлекла в свой круговорот миллионные человеческие массы, знаменуя собой конец одной и начало другой эры. Последствия ее неисчислимы, ибо она взнуздала колоссальную страну железной уздой коммунизма.

В настоящее время Китай медленно начинает приходить в себя после кровавого угара Культурной Революции, и, подсчитывая цену пролитой крови, хочет покарать за бесчисленные преступления той эпохи несколько произвольно выделенных, символических фигур из числа десятков и сотен тысяч таких же изуверов, которым на много лет была отдана страна на поток и раззорение. На наших глазах приходит в движение и вновь начинает жить нормальной жизнью новый Китай, в котором еще трудно разобраться со стороны, ибо в нем перемешано старое, вечное, с новым, еще не устоявшимся и не нашедшим для себя окончательной формы.

«СТАРЫЙ» КИТАЙ

Здесь я хочу поговорить о том Китае, который все, прожившие в нем не один десяток лет, помнят и знают. О тех китайцах, с которыми нам приходилось сталкиваться на каждом шагу и которые своими трудами, дружелюбием, своими способностями обеспечивали нам, европейцам, давно забытый теперь жизненный комфорт.

Тот, «старый», Китай был повернут к нам улыбающимися лицами наших поваров, лавочников, поставщиков, прачек, портных, сапожников. Все эти Чжаны, Суны и Ли подавали нам чай в наших по-европейски отделанных и обставленных конторах; всегда успевали во время поднести зажженную спичку к сигарете небрежно вынутой из дорогого портсигара выхоленной рукой хозяина; они никогда не опаздывали доставить нам прямо на квартиру, к утреннему завтраку, в больших корзинах, свежий, еще теплый хлеб, укутанный белоснежными полотенцами; за гроши приносили на плечиках идеально выутюженные и подкрахмаленные летние платья и костюмы... Они были лучшей на све-

те прислугой в своих белых и голубых бумажных халатах, в бесшумно ступающих мягких, матерчатых туфлях.

Я не представляю себе более умелых купцов чем былые китайцы. Они буквально не выпускали покупателя, зашедшего к ним в магазин, широким движением разбрасывая по прилавку целую гамму струящихся шелков, или, не щадя трудов, выкладывая перед вами весь ассортимент своих товаров, чтобы только не дать вам уйти с пустыми руками. А торговаться здесь можно было буквально до дурноты, уходя, возвращаясь и опять уходя, и зная наверное, что цена у китайцев всегда с большим запросом и что было бы просто глупо с первого слова платить лишнее.

Было бы ошибкой представлять себе, что все русские, жившие в Харбине, вели широкий и привольный образ жизни. Прочный быт создался, конечно, у железнодорожников, которые благодушествовали за надежной спиной Китайской Восточной железной дороги, как у Христа за пазухой: у них были и прекрасные служебные квартиры, и обеспеченные дрова на зиму, и лед в летнее время, и приличные оклады — особенно, когда они исчислялись в условном «золотом рубле» — и «вечерки», которые хорошо оплачивались, и театральные билеты по дешевке, и путевки на железнодорожные курорты, и бесплатный проезд на линию, откуда уж сам Бог велел привозить и местное вино из дикого винограда, и копченую рыбу, и грибы, и орехи, не говоря уже о всевозможной дичи...

В Харбине было, конечно, много богатых людей — коммерсантов, купцов, подрядчиков, концессионеров; наконец, и старшие служащие Дороги получали прекрасные оклады; были и весьма и весьма зажиточные домовладельцы; кое-кто вывез средства еще из России. Но была и рядовая беженская масса, наводнившая Харбин после крушения Белого движения в Сибири и ликвидации недолговечных анти-коммунистических режимов во Владивостоке. Этим, особенно поначалу, бывало иногда очень туго. И вот тут приходил им на по-

мощь разносчик-китаец, или соседний лавочник, всегда готовые оказать им самый широкий кредит под честное слово, на неопределенный, иногда чуть ли не на годичный срок, а то и больше. Патриархальные времена! Продавец делал в своей книжечке заметку, а расчет потом происходил по мере возможности и я не думаю, чтобы оборотистые китайские купцы оставались при этом в накладе.

А где во всем мире можно было еще найти такое колоритное, неунывающее племя, как племя сунгарийских лодочников? Эти загорелые до черноты бедняки-китайцы готовы были в любую погоду, в бурю и дождь, ночью или на рассвете, переправить вас через многоводную Сунгари по установленной обычаем очень умеренной таксе. Все эти «Зорьки», «Львы», «Хабаровски» и «Амуры», — у кого из нас не было приятелей среди этих беспечных беднейших из бедняков, в сущности, нищих, которые, однако, не казались нам какими-то париями, столько в них было прирожденного достоинства и добродушия, совершенно исключавших представление о чем-либо унижающем или достойном жалости.

> "Китая бедный сын, оборванный и грязный, едва прикрыта бронза, нагота... На голове лоскут, убор своеобразный. Его удел работа, нищета. Полудикарь и я. О, как во всем мы разны, но сблизила нас странно красота: едва раскрывшийся, весь в трепетах алмазных, цветок священный, лотос, чистота... Ладонью защитив, он нес его так нежно. Эй! и монет соблазна полный звон. Как удивленно оглянулся он! Жест отрицания был царственно-небрежен. Раздумье. Узких глаз мгновенный блеск и жар и лотос он, бедняк, мне протянул, как дар!"

А помните ли вы китайских буржуев? Толстых, в безукоризненно свежих шелковых или чечунчовых

халатах, китайских компрадоров, богачей, работавших в качестве посредников с иностранными компаниями, залитых желтым жиром и обмахивавшихся от жары бумажными или соломенными веерами? Менял, застывших с каменными лицами за своими высокими прилавками, или с поражающей быстротой, как бы играя, перебрасывавших своими длинными, смуглыми пальцами черные костяшки узких китайских счетов? Мускулистых, сухоногих рикш, сильно и мягко влекущих за собой свою легкую, лакированную колясочку? Огородников, в соломенных, конусообразных шляпах, с их живописным грузом лилово-черных баклажан или яркого, как киноварь, перца, в круглых плетеных корзинах, мерно покачивавшихся на деревянном коромысле в такт размеренно-эластичному шагу несущего?

Мы все знали еще старорежимных китайских женщин, узких, стройных, с круглыми как будто лакированными головками, со стянутыми на затылке узлом плоскими волосами, пронзенными металлической шпилькой, с серебряными браслетами на тонких как будто покрытых вечным загаром запястьях, ковылявших на своих маленьких ножках, перекликавшихся с соседками из окна в окно, или из двери в дверь, своими высокими, резкими голосами, или же мирно сидевших с поджатыми ногами на «канах» — род лежанки — над каким-нибудь сложным китайским рукоделием.

Нечего и говорить, что мы отдали в свое время дань увлеченья китайским «чуфаном», умело манипулируя лакированными палочками, и были знатоками и ценителями изысканного гастрономического искусства «старого» Китая.

НОВОЕ ВРЕМЯ, НОВЫЕ ЛЮДИ

Но что было за этим фасадом безмятежного быта, созданного для нас, иностранцев? Знали ли мы тогда, чем живет вне наших европейских кварталов эта огром-

ная страна, эта Поднебесная Империя с ее семисот или восьмисот-миллионным населением, с ее необозримыми печальными полями, с первобытно суровым пейзажем, мелькавшим перед рассеянным взором путешественника из окна международного вагона разноцветными заплатками на склоне пологих холмов, разделанных искусными и неутомимыми китайскими руками?

Кто из нас после бури сорок пятого года отдавал себе полный отчет в значении и смысле наступающих перемен? Кто понял, как и когда случилось, что этот самый улыбающийся Ван или Сун, индивидуалист, лишенный сколько-нибудь ярко выраженных социальных инстинктов, горячий до самозабвения спорщик, чадолюбивый отец всегда многочисленного семейства, патриархальный чиновник, никогда не отказывавшийся от безгрешного «фацая», лавочник, заботливо подсчитывавший свои барыши и умело приумножавший их, искусный садовник или огородник, с величайшим терпением и умением возделывавший свой небольшой земельный участок — вдруг, как по команде, наденет бездарную, однообразную, каторжную форму и потеряв все свои отличительные, индивидуальные черты, вольется в общую массу «голубых муравьев», навевающую тоску и ужас своим удручающим однообразием?

И влившись в эту безличную муравьиную массу, этот новый китаец оказался существом, совершенно для нас незнакомым...

Ведь это вчерашний улыбающийся Ван, сегодня, ковыряя в ухе удлиненным желтым ногтем мизинца и развалясь на колченогом стуле какого-нибудь присутствия, еле-еле удостаивает вас словом и держит без конца на ногах, пока, наконец, не обратит на вас свой неблагосклонный взор. Это он же, в куртке с форменными пуговицами — (а ведь нет ничего хуже китайца, надевшего форму, китайца-чиновника боятся даже свои) — не стуча входит к вам в комнату и, не снимая шапки, начинает тыкать в разные параграфы очередной анкеты, чего-то требуя и в чем-то вам угрожая! И это он опять, во множественном числе, в сорокагра-

дусный мороз, покорно приседает и подымается, выбрасывая по команде руки — «направо, налево, раз, два, три, раз, два, три» — на пустой еще в ранний утренний час улице, под жидкие звуки прилаженного тут же на телеграфном столбе громкоговорителя. И из них же состоит молчаливая, угрюмая толпа, растекающаяся после трудового дня из многочисленных учреждений — армия новых чиновников «народного» Китая.

КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ

Знали ли мы, что начало всех начал — зарождение коммунистической партии Китая — относится к Первому сеъзду коммунистических кружков, состоявшемуся в Шанхае 1-го июня 1921-го года? Слыхали ли мы о первых, уже политических, забастовках рабочих в Тяньцзине и Шанхае? О манифесте, выработанном Вторым съездом партии в Ханьчжоу в мае 1922-го года, определившим минимальную и максимальную программу партии, и о том, что на этом съезде было принято решение о вступлении в Коминтерн? О первой пролитой крови — (позднее ее уже перестали считать) — при подавлении ген. У Пей-фу забастовки рабочих Пекинско-Ханькоуской железной дороги 7-го февраля 1923 года? О Третьем съезде партии в июне 1923-го года, на котором был решен вопрос о сотрудничестве с Гоминданом и был избран в ЦК партии будущий диктатор красного Китая, Мао Дзе-дун?

Перелистывая историю Китая последних десятилетий, видишь, как тлеет, то угасая, то разгораясь с новой силой, раз зароненная искра коммунистической заразы и как борются с переменным успехом за лакомый кусок хищные и жестокие силы, стремящиеся к господству над огромной страной: Гоминдан, не находящий способов удержать ускользающую власть; нащупывающая почву, еще не вполне нашедшая себя, китайская компартия, за которой страшной гигантской тенью

встает Советский Союз; алчная Япония, неудержимо стремящаяся к расширению своего «жизненного пространства»; богатая и сильная, но политически бездарная Америка!

Из всех борющихся сил Япония первая, потерпев военное поражение, выпала из игры. Америка оставила поле битвы добровольно, дав изумленному миру неоспоримое доказательство полного отсутствия политического чутья и даже просто здравого смысла. Соединившись на короткий срок в общей борьбе против японских интервентов, Гоминдан и коммунистическая партия после конца войны вновь вступают в борьбу. Она идет с переменным успехом, но, увы, правительство Чжан Кай-ши постепенно теряет авторитет, власть ускользает из его рук и даже мощная поддержка американцев уже ничего не может изменить — правительство Гоминдана обречено. Престиж его режима котируется все ниже в глазах всего китайского общества и даже иностранцев. Невероятная коррупция — (вспомним хотя бы оцениваемые в десятки миллионов американских долларов богатства, сосредоточенные в руках «четырех правящих семейств», Чжан, Кун, Сун и Чэнь) — и связанная с нею полная неспособность и нежелание справиться с экономической разрухой, наследием гражданской войны и борьбы против японских агрессоров, привели к тому, что гоминдановский режим пал, как карточный домик.

Теперь, глядя назад, можно сказать, что — как это было когда-то и в России — не поддержка народных масс — ее не было, народ был утомлен и равнодушен — не популярность коммунистических идей в Китае — о них подавляющее большинство китайцев не имело никакого понятия — не какие-либо особые таланты коммунистических вождей дали им победу, но исключительно ошибки старой власти, не сумевшей смело стать на путь необходимых реформ; ошибки, к которым присоединились усталость народа после войны и непрекращавшихся внутренних раздоров, распад прежних форм жизни и опять же роковой как-бы паралич

старой власти, подобный тому, который погубил когда-то Россию.

Мы выехали из Харбина зимой 1956 г. Коммунизация Китая происходила у нас на глазах и на наших глазах было положено начало тому, что вошло в историю под нелепым названием «Культурной Революции». Мы видели, как систематически и планомерно буквально раздевали и разоряли до нитки китайских купцов, объявленных врагами народа; как частных ремесленников объединяли в какие-то нелепые трудовые коллективы, преследуя за принятые ими частные заказы; мы были невольными свидетелями, как улюлюкающая, будто взбесившаяся, толпа китайской черни бежала по набережной Сунгари, швыряя камнями в сносимых вниз по течению брошенных в воду и обреченных на гибель «классовых врагов» народа; как гнали на принудительные работы миллионы коммунальных работников, чтобы спасти от гибели урожай; как отправляли на китайскую целину, на верную смерть, бедняков, буквально не имевших чем прикрыть свое бренное тело; как проводили в ударном порядке запланированное коммунистическое строительство, отрывая людей от их привычных и полезных занятий.

Не знаю, какими вышли современные китайцы из бурь и потрясений Культурной Революции: это покажет время. Но национальный характер с трудом поддается ломке и мы видим уже и теперь, как китайский народ постепенно распрямляется и уже начинают мелькать в его облике знакомые черты.

О ХАРАКТЕРЕ КИТАЙЦЕВ

Китаец привык работать, трудиться. Он первоклассный ремесленник, у него буквально золотые руки и редкая способность к тонкому ремеслу. Рядовой китайский сапожник, портной, токарь, ювелир, всегда гордились своим искусством и вносили в свой труд нотку

человеческого тепла и любви к своему ремеслу. Вспомним эти очаровательные «хутунги» старого Пекина, в которых по цехам, как в старину, располагались предприятия резчиков по кости — (знаменитые китайские шары из цельной слоновой кости, вкладывавшиеся друг в друга и выточенные, как тончайшее кружево) — мастеров по серебру, ткачей, меховщиков, ювелиров, с их испещренными загадочными иероглифами вывесками, протянутыми поперек узких улиц, с кипящей, пестрой, веселой толпой, в которой так манило затеряться и как бы уйти от современности в живописное китайское средневековье.

Вспоминаешь «Флауэр Стрит», где глаз нельзя было оторвать от ювелирных изделий из перламутра, нефрита, бирюзы, китайского жемчуга в тончайшей золотой или серебряной оправе, где в витринах распускались кусты белых и розовых кораллов и раскрывали свои причудливые лепестки какие-то фантастически прекрасные цветы — плод фантазии и искусства талантливых китайских мастеров.

На протяжении всей своей истории китаец торговал. Процесс ликвидации частной торговли, начавшийся еще при нас, был вскоре доведен до своего логического конца: все заменили государственные кооперативы. И невольно вспоминаешь, как это выглядело в харбинских условиях: полупустые полки с стандартными товарами; унылые, скучающие лица продавцев, которым плевать на покупателя, на интересы предприятия и вообще на все в мире. Вот откуда были миллионные убытки этих кооперативов; вот откуда сотни тысяч тонн сгнивающих в ящиках и корзинах продуктов, которые по халатности, равнодушию, неумению или может быть даже в результате вредительства, не успевали во время доставить покупателю...

Китаец остряк, балагур, страстный спорщик. Кто из нас, живших когда-то в Китае, не был свидетелем уличной сценки, когда два молодых задиры сцепятся в веселом споре и немедленно собравшаяся около них толпа принимает в нем самое горячее участие, хохотом

и громкими восклицаниями выражая свое одобрение или неодобрение находчивости и остроумию спорящих? Есть ли теперь все это в современном Китае? Можно ли там без страха говорить, смеяться, шутить? Изменилось ли что-нибудь с тех пор, как один старый китаец незадолго до нашего отъезда заметил, что «теперь можно открывать рот только для того, чтобы кушать!» А азартные игры? А маджан, которому с такой страстью предавались китайцы? А веселый Новый Год, который праздновался целый месяц, когда забрасывали все дела, когда пировали во всю, и бедные и богатые, и редко у кого из китайцев не было припасено на этот случай, для традиционных пельменей, два-три пудовичка первоклассной сонхошиновской муки? А изысканная китайская кухня? Оставлены ли современному китайцу эти небольшие житейские радости, или все без остатка сожрала изуверская революция?

Коммунисты очень много говорили о том, что они восстановили национальное достоинство и гордость своей страны; что, изгнав иностранных капиталистов-эксплуататоров, они вернули Китаю его самостоятельность и самоуважение. Но какой же путь они для этого выбрали?

Вспомним трагический фарс «уфанов» и «санфанов», *) прокатившийся по всей стране в 1955 и 1956-ом годах. Этот истерический психоз признаний, раскаяний и, в конечном счете, доносов в планетарном масштабе, при помощи которых люди старались спасти собственную шкуру; где уж тут было говорить о каком-либо достоинстве или уважении к человеческой личности? Это была необыкновенная, незабываемая картина, когда люди должны были публично признаваться во всевозможных преступлениях против государства, чернить своих сотрудников и товарищей, свое начальство

---

*) Борьба с 3-мя пороками среди партийцев (коррупция, бюрократизм и пр.) и с 5-ю пороками китайской буржуазии, как-то уклонение от налогов, кража госуд. имущества, обман при выполнении государственных подрядов, экономический шпионаж и пр.

и самих себя... когда клевета, донос, подлость, подлог, стали доблестью. Когда достоинство человека публично попиралось ногами и каждый каждому всенародно плевал в лицо! Что осталось от всего этого в современном Китае? Считается ли там теперь взяткой, если чиновник примет предложенную ему папиросу? Воровством народного добра, если служащий напишет личное письмо на листке казенной бумаги? Подрывом плана работы, если на пять минут опоздает на службу? Если да, то все это величайшее лицемерие, ибо, если судить по тем сведениям, которые доходят до нас из Китая, люди остались людьми, и руководство страны уже бьет тревогу в связи с небывалой коррупцией и всевозможными злоупотреблениями, которые обнаруживаются в настоящее время на всех уровнях государственного аппарата.

В результате всей этой вакханалии многие тысячи китайцев по всей стране сели в тюрьмы; многие тысячи были смещены со своих должностей, и тысячи других, превратившись в китайских лишенцев, покончили с собой, что совершенно противоречит характеру китайского народа, жизнелюбивого, трезвого, не страдающего распадом личности и не терзаемого всевозможными сомнениями, которые в западном мире так часто приводят к трагической развязке.

Когда в общий водоворот этой дикой истерики и полной неразберихи были вовлечены также и мы, европейцы, атмосфера стала удушливой, тяжелой, и в корне было подорвано чувство личной безопасности и уверенности в завтрашнем дне, без которой нет и не может быть нормальной жизни, ни личной, ни общественной.

ПОИСКИ ВЫХОДА

И вот, в поисках выхода, наиболее дальновидные из нас стали подумывать о необходимости уезжать. Стали вспоминать о родственниках и знакомых, узна-

вать адреса; писать письма; заполнять анкеты организаций, о которых сначала передавали друг другу шопотом, боясь своей тени и скрывая свои хлопоты от всех, даже самых близких. Начались первые, немногочисленные отъезды.

Только полным пренебрежением к русскому населению Маньчжурии можно объяснить тот факт, что по началу советское консульство отнеслось с полным равнодушием к первым робким попыткам бывших эмигрантов выбраться за пределы Китая. Людей — правда, сначала это были единицы — стали выпускать без особых трудностей. Но по мере того, как условия жизни в стране становились все труднее, по мере того, как стали приходить вести от уехавших заграницу, с обещанием поддержки, с бодрыми, хорошими новостями, тяга за море стала заметно усиливаться, грозя приобрести характер массового исхода. Этому в большой степени способствовал все усиливавшийся коммунистический зажим местной жизни.

Как всегда и везде, где к власти приходят коммунисты, жизнь в Маньчжурии и, в частности, в Харбине, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, стала сходить на нет. Китайские товарищи пошли по стопам своих советских учителей. Русские частные предприятия постепенно раззорялись и вынуждены были закрываться; душил экономический контроль с явным уклоном на ликвидацию русских фирм, дел и занятий. Русские хозяйства, как в самом Харбине, так и на линии, силой вещей были обречены на гибель: то выходило запрещение ездить на сенокос; то не позволяли заготовлять дров; отнимали право на охоту или запрещали вывозить в город различные деревенские продукты, как например, орехи, грибы, соленую рыбу, мед, вино домашнего изготовления, чем многие существовали в течение ряда лет. Для скота становилось трудно доставать фураж; чинились препятствия к вывозу с линии в Харбин молочных продуктов... И вот за бесценок пошли дойные коровы, лошади; раззорились пасе-

ки; опустели заимки, заглохли ягодные плантации: русским становилось не на что жить. Дома перестали приносить доход: фиксированные ставки квартирной платы катастрофически отставали от стремительно падавших денег. Даже счастливцы, имевшие службу — главным образом учителя, инженеры, техники и переводчики — с трудом могли сводить концы с концами, ибо ставки заработной платы были снижены и приравнены к ставкам для местного китайского населения и к потребностям — и притом минимальным — этого последнего, что, конечно, совершенно не соответствовало даже самым скромным нуждам европейцев. Люди, имевшие кое-какие сбережения, были раззорены дважды проведенной девальвацией местной валюты.

ПЕРЕМЕНА

Вот так и жили, вернее, приспосабливались к жизни, делая со своей стороны все возможное, чтобы вырваться из этого заколдованного круга. Между тем на фронте отъездов заграницу появились первые зловещие признаки. Тревожным предупреждением прозвучали статьи в газете о тех, кто забыв свое достоинство советского гражданина — (каковыми ни мы сами себя, ни советское консульство нас не считали) — стремятся уехать во всякие «бразилии» и «парагваи» и готовы за жалкий кусок хлеба лизать пятки иностранным капиталистам-эксплуататорам и всячески перед ними пресмыкаться. Такие люди стали клеймиться изменниками и предателями своей родины. В молодежных организациях начали устраивать публичные суды над их членами, выразившими желание уехать заграницу, с вынесением обвинительных приговоров и торжественным исключением «поганой овцы» из благонамеренного стада. Стали умножаться отказы в разрешении на

выезд и вообще вокруг всего этого вопроса постепенно сгущалась тяжелая атмосфера произвола и насилия. Советское консульство отказывало в разрешении на выезд, а без такого разрешения китайские власти, еще поддерживавшие видимость дружеских отношений со своим «старшим братом», визы не давали. Становилось ясно, что «заграничникам» ничего хорошего ждать не приходится.

Оптимисты утешались тем, что, мол, пока не пускают на родину, дело еще не так плохо: перетерпим, а там видно будет, ибо консульство неоднократно подчеркивало, что ни о каком массовом вывозе русских в Союз не может быть и речи, а индивидуальные советские визы выдавались в редчайших случаях. Значит, рассуждали оптимисты, какой же смысл держать людей без конца в Китае — ведь это тоже «заграница»? Но они забывали, что хотя Китай для русских и «заграница», но совсем особого рода и что живя там мы и плотью и духом подчинены советским властям, которые вольны распорядиться нами, как им будет угодно, при полном безучастии и равнодушии к нашей судьбе со стороны хозяев Маньчжурии, китайцев.

ЦЕЛИНА

Но вот, перед самой Пасхой 1954-го года, нас как громом поразила весть, что советское правительство объявило для русских в Маньчжурии запись на целину. Нам предлагалось искупить свои вины — (а, спрашивается, какие, например, могли быть вины у многочисленных русских юношей и девушек, родившихся в Китае, или покинувших по воле своих родителей Россию в малолетнем возрасте?) — и влившись в общую волну трудового подъема советского населения, отдать свои силы родине и тем самым заслужить себе право

стать полноправным гражданином Советского Союза.

Я услышала эту новость в Страстную субботу, зайдя за чем-то в пристанское отделение Чурина, и у меня невольно упало сердце. «Кончено», подумала я, — нам теперь не выбраться!».

И действительно... Прием по делам заграничников в консульстве был вскоре отменен. Было объявлено, что оно слишком занято отправкой на родину «патриотов»; одновременно началось давление на русское население, чтобы вынудить как можно больше людей записываться на целину.

На неимущих — служащих, рабочих, давили грубо, без затей. — Заполни анкету, зарегистрируйся на выезд — (хотя бы на следующий год.) — «Нет, значит ты враг народа и вались ты ко всем чертям, пухни с голода, отнимут у тебя и твоих детей последний кусок хлеба!»

Во время третьей целины тогдашний председатель Общества Советских Граждан, многим памятный Г. Шевченко, мясник по профессии, лично объезжал учреждения, где служили русские: строительные конторы, Сунгарийские Мельницы, школы, Политехнический Институт, Институт Иностранных Языков и т. д., и просил начальство увольнять русских, не записавшихся на целину, подчеркивая, что, выявив себя элементом враждебным советской власти, они не имеют права на работу и должны быть беспощадно «вычищены».

На богатых давили иначе: уедешь заграницу, бросишь все — дом, вещи, деньги... Увезешь с собой ненужное «барахло», да двадцать-тридцать долларов деньгами. Поедешь на родину — правительство поможет тебе выгодно продать твой дом, или ликвидировать твое предприятие. Деньги частью переведешь в Союз по хорошему курсу, частью вложишь в разные товары: в Союзе-де имеются государственные комиссионные магазины, которые помогут тебе реализовать все по самым высоким ценам; купишь себе дом, где захочешь, и заживешь на славу...

Давали подъемные; в Харбине и на станции Отпор.

В Харбине давали скупо, еле хватало на веревки для багажа и бедняки, как в чем были, так и уехали — а многие были буквально раздеты.

Но вот кончилась первая целина. Русским роздали анкеты. Среди других сведений нужно было указать, куда вы собираетесь выехать. «Заграничники» приободрились, думали, вот теперь будет какое-то движение и в их деле. Но, увы, консульство приготовило им неприятный сюрприз.

СОБРАНИЕ В КОММЕРЧЕСКОМ КЛУБЕ

В ноябре 1954 г. было разослано несколько сот повесток лицам, подавшим в консульство заявление о своем желании выехать заграницу. Как сейчас помню это знаменитое собрание в нижнем зале Коммерческого Клуба на Пристани; одновременно, такое же собрание было созвано и в харбинском пригороде, Модягоу. По городу уже ползли зловещие слухи. Собирались с невеселым чувством: хорошего не ждали.

Среди собравшихся царила атмосфера сдержанной тревоги. А когда один из членов Правления Общества Советских Граждан поднялся из-за стола и зачитал бесконечный список лиц, которым было отказано в выезде заграницу, когда встал Серебряков, бывший в то время советским вице-консулом в Харбине, и в очень резкой форме заявил, что для русских есть только один путь и «это путь на родину» и что он советует хорошенько подумать, прежде чем принимать окончательное решение — (что прозвучало скрытой угрозой, ибо все сознавали свою полную беззащитность и бесправность и хорошо помнили расправу 1945-46 гг.) — в зале поднялась настоящая буря. Кто был возмущен, кто подавлен; у многих на глазах были слезы; некоторые впали в полное отчаянье; у всех буквально опустились руки...

СОВЕТСКОЕ КОНСУЛЬСТВО

Все же консульство, как это ни странно, не прекратило приема «заграничников». Но это было сплошное издевательство: отказы, отказы, отказы... Да, за эти годы — а ведь это продолжалось годами — мы научились терпению, умению молчать и ждать, выслушивать иронические советы или угрозы, уговоры и окрики; мы научились не верить ни отказам, ни обещаниям — ибо здесь во всем и всегда царила ложь.

Советское консульство в Харбине! Главная улица... Запорошенный снегом голый, зимний сад... Средней руки железнодорожный особняк с большой застекленной верандой, на которой, вероятно, в былые времена блаженной памяти Китайской Восточной железной дороги были отпразднованы не одни веселые именины и где теперь толпились, просматривая скучнейшие «Правду» или «Известия», невеселые, хмурые люди, уже заранее униженные своим положением «просителей», бесправных «просителей», ждущих «милости» власть имущих.

Боже мой! Трудно поверить, не испытав этого самому, каким бесстыдным издевательством над элементарнейшими человеческими правами и чувствами была вся деятельность советского консульства в Харбине. Невозможно понять, чем руководствовалось советское правительство при выработке своей линии поведения в отношении русского населения Маньчжурии? И с невольным, горьким чувством вспоминаешь теперь, через столько лет, как много жизней разбила «патриотическая» деятельность советских чиновников в Харбине, сколько слез было пролито перед этими небрежными, равнодушными, если только не прямо враждебными, вершителями нашей судьбы и в какое неслыханное надругательство над людьми вылилась их «защита и охрана» русских интересов в Китае.

СОВЕТСКИЕ ПАСПОРТА

Чтобы понять каким образом многим ярым антикоммунистам пришлось взять так называемые «советские паспорта» — (по существу это были просто виды на жительство, не дававшие нам никаких прав) — нужно отчетливо представить себе, при каких обстоятельствах это сделалось для них необходимостью. Нельзя забывать, что всю зиму 1945-1946 гг. мы жили в условиях советской военной оккупации, и что в период этой оккупации правопорядок на территории Маньчжурии был заменен законами военного времени, то есть, в Харбине, произволом советского военного командования города; что с первых же дней оккупации сотни и тысячи людей были схвачены и насильственно вывезены в Советский Союз и что фактически мы жили всю ту зиму в атмосфере советского террора; что все дрожали не только за свою судьбу, но и, главное, за судьбу своих близких, попавших в руки советских чекистов; что перед нами во весь рост встал вопрос о неизбежности массовой депортации русского населения и поражаться следует тому, и считать это чудом Божьим, что этого не случилось...

Но вернемся к прерванному рассказу.

ХЛОПОТЫ

В тот период, когда моя семья начала хлопоты о выезде из Китая, первым шагом было получение разрешения на это от советского консульства. И вот начались наши хождения по мукам. Обычно прием по «эмигрантским» делам — нас попрежнему, несмотря ни на что, считали «эмигрантами» — происходил три раза в неделю, «от» и «до», причем приемные часы то сокращались, то вовсе отменялись на данный день или на

более продолжительное время, когда официально объявлялось, что консульские чиновники заняты другими, более важными делами и что для разговоров с «заграничниками» времени у них нет.

Чтобы не прогуляться зря на другой конец города, люди стремились записаться в очередь как можно раньше, так как зачастую принимали только, скажем, двадцать первых человек из числа записавшихся.

В этом стремлении во что бы то ни стало попасть на прием доходило до того, что люди устраивали ночные дежурства около консульского особняка, забираясь на Главную с двух-трех часов ночи и терпеливо дежуря до утра, чтобы первыми войти в негостеприимные двери высокого учреждения. Это, конечно, было очень тяжело, особенно для людей пожилых и в зимнее время, при сорокаградусных морозах, когда, несмотря на валенки, тулупы, теплые платки и прочее снаряжение несчастные «заграничники» промерзали до костей, буквально коченея от холода, простужались и болели...

Появилась даже специальная профессия — дежурить за кого-нибудь, за известную мзду, чтобы пораньше поставить на листе имя своего «доверителя».

Но каково было, прождав целую ночь и буквально падая от усталости, услышать от равнодушной привратницы: «Да вы, товарищи, лучше расходитесь. Товарищ Зюкин — (или Тимофеев, или Блокин — как хорошо запомнились имена этих подлецов) — принимать сегодня не будет: занят...» и брести домой, несолоно хлебавши. Или, попав наконец на вожделенный прием, услышать грубый окрик: «Что вы, товарищ, лезете со своими делами? Никуда вы не уедете... Понятно?» Или выслушивать советы вроде совета, данного одному семидесятипятилетнему старику, добивавшемуся права выехать заграницу к своим сыновьям и терпевшему в Харбине горькую нужду: «Поступайте лучше в приют. Китайские товарищи о вас позаботятся».

И вот люди ходили и ходили, как маятник; покорно проглатывали неудачу; исполнялись надеждой,

когда удавалось хотя бы переступить порог кабинета начальства, чтобы получить в лицо ушат холодной воды; и уходили, и снова возвращались несмотря ни на что, ловя и передавая слухи, толкуя и обсуждая на все лады, кто, что, когда и кому сказал, делясь друг с другом своими разочарованиями и редкой, очень редкой удачей...

Если вам повезло и вы в конце концов получили от консульства извещение, что ваш паспорт передан Обществу Советских Граждан, этому бездарному, но довольно подлому учреждению, помещавшемуся по Большому проспекту за магазином Чурина, недалеко от Старого кладбища, следующим шагом была уплата Обществу выкупа за вашу грешную, эмигрантскую «душу», без чего получить заветную печать на паспорте было невозможно. Наконец, последним этапом на тернистом пути упорного «заграничника» был визит в ДОБ — (китайский Департамент Общественной Безопасности) — для получения китайской выездной визы. Иногда этой визы приходилось ждать годами. Кто здесь продолжал издеваться над нами, китайцы по распоряжению советского консульства, или те же китайцы по собственной инициативе — сказать трудно.

ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА

Все эти хлопоты, тревоги, волнения происходили на фоне беспрерывного нажима, чтобы заставить нас переменить решение. Все средства были хороши, чтобы «сломать» заграничников. Так, для обращения в одну из Организаций, помогавших нам в оформлении документов для выезда в страны свободного мира, необходимо было заполнить анкету на английском языке. Большинство английским владело недостаточно хорошо; приходилось прибегать к чужой помощи. И вот Общество Граждан объявило, что малейшее содействие

«заграничникам» является преступлением; даже если вы всего навсего адресовали для них конверт заграницу — вы уже проявили этим свою нелояльность. Лица, зарабатывавшие переводами и печатанием списков вещей уезжавших и заполнением анкет, вызывались в Общество, где им объясняли, что такая работа запрещена и что если они не послушаются, «то будет плохо!»

Да, все это было и нужно только удивляться, с какой настойчивостью, с какой предельной затратой и душевных, и физических сил мы и наши друзья добивались возможности уехать в свободный мир. Но выдержали не все, далеко не все. Как часто приходилось слышать, что того или другого из наших единомышленников «сломали» и он записался на целину.

Многое вспоминается из последних лет нашей жизни в Китае. О, как тяжелы были проводы друзей, уезжавших в Советский Союз: их драма происходила на наших глазах. Как мучительно долго боролись некоторые, прежде чем принять роковое решение. Сначала жадно стремились «за речку» — как у нас почему-то называли заграницу, в отличие от «на горку», т. е. в Советский Союз. Списывались с родными и друзьями, заполняли анкеты, писали письма, заявления. Лихорадочно ждали вестей, писали вновь и вновь, просили... нередко добивались успеха и получали заветную заграничную визу. Тогда устремлялись на Главную. Дежурили ночами; мерзли; унижались. Просили, плакали. Лишались сна и аппетита, болели... Ловили слухи. Каждое слово, чуть ли не каждый взгляд, толковали и обсуждали на все лады... и надеялись, вопреки всему! Так зачастую проходили годы. Люди начинали задыхаться: отказы, отказы и отказы! Нередко угрозы. Общее недоброжелательство. Ощущение постепенно стягивающейся на горле петли. Страх нужды; люди теряли работу и не могли устроиться вновь, если отказывались ехать на целину... Тяжелые раздумья: и потихоньку психика начинала приспосабливаться к новому решению — ехать «туда!» — «Всетаки родина... как-ни-

будь проживем. Сначала будет трудно, потом жизнь наладится. Ведь живут же люди... Здесь оставаться все равно пропадать — а заграницу не выпустят... Проживем еще год и окончательно обнищаем, а так хоть одетые поедем.»

ПРОВОДЫ

И вот, в результате, роковое решение принято!

Вспоминаю. Весенний день. Гуляет ветер. В его порывах чудится тревога, боль... На сердце тяжесть и недоумение. Неужели нет иного выхода? Но выхода нет!

На перроне три классных вагона третьего класса. К часу дня, когда мы попадаем на вокзал, они уже почти полны. Из окон глядят детские, невинные, ничего не понимающие глаза, и женские — заплаканные, скорбные. Последние пассажиры, торопясь, тащат узлы, плохенькие чемоданы, корзины с привязанными к ним жестяными чайниками, пакеты с провизией... Жалкий скарб: публика большей частью едет небогатая — тузы укатили экспрессом Пекин—Москва, а это маленькие люди, ничего не скопившие за долгие годы жизни на чужой земле, ничего почти не увозящие с собой, кроме бремени прожитых лет и сознания понапрасну растраченных сил.

Всюду кучки провожающих. Прощаются с родными, с друзьями. Есть семьи, в которых часть уезжает, часть остается: на этом жизненном вопросе «родина» навсегда, порой, разошлись люди, прожившие вместе много лет.

Вот пара, еще молодая. Полные сил люди. Припали друг к другу и не могут оторваться. Он целует ей глаза, волосы; она приникла головой к его плечу и, кажется, отдает ему душу в последнем поцелуе. Разлука, вероятно, навсегда! Навсегда: какое это страшное слово! Возврата нет и не может быть.

Я провожаю знакомую старушку. Она вся в черном, как монашенка; не плачет, молчит; говорить уже не о чем — все переговорено. Остается только проститься.

— Вот, родная, мать моя с голоду там померла, а я еду... как в воду бросаюсь. А куда деваться? Брат у меня там. Больше никого на целом свете.

Кое-где слышатся бодрые речи, уверенные голоса: «До свиданья на родине! Догоняйте, не задерживайтесь! Все там будем.»

Кто-то из молодежи затягивает — «Широка страна моя родная». Никто не поддерживает и начатая песня обрывается на полуслове.

И это возвращение домой, на родную землю? И это прием великой матерью своих вновь обретенных детей? Как мало широты, благородства, великодушия проявила советская власть в этом наболевшем вопросе. Такая большая страна, такая могучая; победительница на полях сражения, победоносно кончившая кровопролитную войну — неужели она не могла поставить крест на прошлом и мудро разрешить проблему эмиграции? Сделаться человечнее, добрее; прекратить, наконец, свои бесконечные издевательства над несчастными, измученными людьми и дать им почувствовать, что они дети великого народа? Бессмысленные рассуждения! Тогда мы еще не знали всего, что происходило на Западе, где советские чекисты буквально, как за дичью, охотились за русскими, для которых возвращение на «родину» было горше смерти...

ВЕСТИ ОТТУДА

Об увезенных, об уехавших просачивались кое-какие сведения. Над первыми будто-бы в Хабаровске был учинен суд. Трех из их числа почему-то выпустили и к Рождеству они вернулись в Харбин. Рассказывали

мало, путанно, противоречиво. Толком понять что-либо было невозможно. У одного из них было, видимо, какое-то задание и он вскоре вернулся в Союз; след другого я потеряла. Это был врач, человек уже немолодой; что с ним было дальше, я не знаю. Третий приехал совсем больным, несколько месяцев работал в Обществе Советских Граждан и вскоре умер от неизлечимой болезни. Остальные были осуждены на каторжные работы, а большинство потонуло без следа, как в омуте, в этой страшной стране. Некоторые, особенно пожилые и больные люди, не выдержав дороги в ужасных условиях, без воды, без медицинской помощи — («Воды захотели? Ничего, потерпите!») — скончались в пути в первые же дни. Несколько человек из более видных, занимавшихся активной политической работой, были увезены в Москву и после комедии советского суда некоторые из них были повешены или расстреляны.

От «добровольно» уехавших в Союз и более или менее благополучно добравшихся до места назначения, харбинцы начали получать письма. Вот, например, что писал один друг из негостеприимных степей Казахстана:

— Когда я ехал в Россию, я верил, что совершаю этим свой патриотический долг. Но оказалось, что я совершаю подвиг...

Да, это был подвиг, ехать в полную неизвестность, на тяжелый, непривычный труд, часто под открытое небо; испытать всю тяжесть недоброжелательства и недоверия местных жителей; недоедать; жить по десять человек в одной комнате — это еще в лучшем случае: все-таки крыша над головой; мерзнуть или увязать в непролазной грязи; таскать за три версты ведрами воду, или мыть детей песком, так как и за три версты воды нет; или пить воду из болота.

А сам путь — Боже мой! Блаженство, классные вагоны, хотя твердые, кончается на Отпоре. Там, в условиях ужасающей неразберихи люди сами перегружают свой скарб в советские вагоны; тащат ящики и сундуки, надрываясь, через пути, почему-то всегда но-

чью, в кромешной тьме, натыкаясь друг на друга и не получая ни от кого ни помощи, ни подержки, ни хоть каких-то указаний. Размещение в теплушках, лишенных самых элементарных удобств. Невероятная тряска в пути, от которой переворачиваются все внутренности. На остановках женщины, как тюльпаны, устраиваются за ближайшими кустами, мужчины — кто где... Это занятие прерывается неожиданным сигналом к отправке. Все вскакивают, как сумасшедшие... Машинист хохочет: это, видите ли, была его милая шутка! Всякое чувство приличия, стыдливости утрачено; люди унижены, измучены, одурели. Ни вымыться, как следует, ни привести себя в порядок...

С железнодорожных станций до назначенных колхозов — которые зачастую были еще только в проекте — поездка на грузовиках; тоже одно мучение. Шофер, нередко пьяный, несется сломя голову по колеям и ухабам. Плохо уложенные и увязанные сундуки, ящики, чемоданы, срываются, калечат людей. Иногда грузовик переворачивается; люди ломают руки, ноги... На месте врачебной помощи нет. Так, одна дама, переломившая ключицу, три дня промучилась, буквально крича от боли, пока, наконец, дождалась доктора...

А на месте?

— Перебрасываю снопы, пишет приятельница-шанхайка. — Сил не хватает, нормы выполнить не могу. Все руки изранены.

Профессор-харбинец, человек с всероссийским стажем, уже старик, пасет свиней: — «Не думал, что когда-нибудь стану пастухом.»

Еще одна интеллигентная дама, как светает, идет собирать по дорогам навоз и складывает его в особые корзины. Поест, передохнет и снова то же самое до темноты.

— Сажаем капусту, — пишет член Правления Общества Советских Граждан; Иван Иванович, (товарищ председателя Правления), подносит нам рассаду; в воскресенье мазали хату, а потом ездили за десять верст за дровами... Настроение бодрое!

— Керосина не достать ни за какие деньги, — пишет другой. Сидим в темноте. Везите все, что есть: ведра, макотры, бидоны; здесь ничего не достать, а воду нужно таскать издалека, так чтобы было в чем.

— Не помню, когда ели горячее — ни дров, ни угля, что хочешь, то и делай...

— Петра Яковлевича подкололи товарищи за то, что уж больно старался: все норму перевыполнить хотел...

— С музыкой кончено: руки погибли, распухли, искалечены. Жизнь теряет смысл...

Вот какие вести доходили до нас от людей самоотверженно влившихся в так называемое «стихийное патриотическое движение», охватившее в те годы население «большой земли».

Помню, как харбинцы встречали проезжавших через наш город шанхайцев, тоже направлявшихся на целину. Как сжалось сердце при виде выхоленных девочек в локонах и легких платьицах или нарядных шубках, болтавших между собой по-английски, при мысли, что ждет их там, в условиях этого звериного быта. А мой друг музыкант? Что думал он найти в степях Казахстана, на что он расчитывал, уезжая «туда»? Как легко мы верим тому, чему нам хочется верить, но как бесконечно тяжела бывает расплата!

На Западе очень распространено мнение, что все ужасы, все преступления советского режима совершенно в духе старых русских традиций и только повторяют или продолжают политику царского правительства. Для тех, кто хоть мало-мальски знаком с русской историей и не заражен коммунистической заразой, такое утверждение кажется полным абсурдом и клеветой на русский дореволюционный строй. Раз уж нам пришлось заговорить о целине, интересно сравнить варварское отношение советского руководства в проблеме заселения девственных земель страны с глубоко гуманной и продуманной политикой в этой области переселенческих органов старой России. Совершенно случайно, просматривая «Фрегат Паллада», я натолкнулась на не

вызывающее никаких сомнений в своей правдивости и беспристрастности свидетельство известного русского писателя И. А. Гончарова, зафиксированное в его книге почти 130 лет назад.

Завершив свое морское путешествие, Гончаров возвращался в Петербург через всю Сибирь с берегов Охотского моря. Вот, что он пишет:

«Вы едете... по таким местам, которые еще ждут имени в наших географиях, да и весь край этот не все, у нас и в Европе, назовут по имени и не все знают его пределы и жителей, реки, горы; а вы едете по нему и видите поверстные столбы, мосты, из которых один тянется на тысячу шагов. Конечно, он сколочен из бревен, но вы едете по нему через непроходимое болото. Приезжаете на станцию, конечно, в плохую юрту, но под кров, греетесь у очага, находите летом лошадей, зимой оленей, и смело углубляетесь, вслед за якутом, в дикую непроницаемую чащу леса...»

Гончарова приятно поразило, что вопреки существовавшему убеждению, будто в этом углу Сибири хлебопашество невозможно, «на реке Мае... нам впервые бросились в глаза огороды и снопы хлеба, на первый раз ячменя и конопли. Местами поселенцы не нахвалятся урожаем. Кто эти поселенцы? Русские. Они вызываются или переводятся за проступки из-за Байкала или Лены и селятся по несколько семейств на новых местах... Казна не только дает им средства на первое обзаведенье лошадей, рогатого скота, но и поддерживает их постоянно, отпуская по два пуда в месяц хлеба на мужчину и по пуду на женщин и детей».

«Хлебопашество и разведение овощей по рекам Мае и Алдану — пишет дальше Гончаров, создание свежее, недавнее и принадлежит попечениям здешнего начальства. Поселенцы благословляют эти попечения. — «Все сделано для нас, говорят они, а где не родилось ничего, значит и не родится никогда.»

Какие же тут могут быть аналогии с советскими методами освоения пустопорожних земель? Думаю, что вывод напрашивается сам собой.

СУДЬБА ХРАМОВ И КЛАДБИЩ

Чтобы уже не возвращаться к этому вопросу, скажу несколько слов о судьбе русских православных храмов и кладбищ, которые еще не были осквернены и разрушены в наше время.

Вскоре после нашего отъезда в 1956 г. пекинское правительство предложило желающим перенести памятники с могил на новое место, отведенное для этой цели в двадцати милях от города. Нам сообщили, что предполагаемая цена за перенесение останков умерших будет примерно 7 фен с дина — (китайская мера веса). Как-то дико и даже кощунственно расценивать это на дины и тяжело было думать, что равнодушные руки иноверцев прикоснутся к бренным останкам наших близких и друзей, что будут потревожены могилы, нарушен последний покой, которого даже после смерти будут лишены те русские, которые навсегда остались в Китае. Да, конечно, все это прах, тлен, камни, гранит, железо, но вместе с тем символ чего-то бесконечно более дорогого, и во все времена, все народы почитали священными города мертвых, место их последнего упокоения.

Уже в 1958-ом году китайцы принялись за разрушение Старого кладбища, которое приобрело хаотический вид. Казалось, что все было взорвано и взлетело на воздух. Перенесли могилы единицы, а большинство оставило их как есть.

На Новом кладбище начатые примерно тогда же работы были временно приостановлены; теперь они видимо закончены. Уничтожены были прекрасные памятники и куски мрамора и гранита валялись на сунгарийской набережной: из них был сооружен памятник «героям-борцам с наводнением 1957-го года», на котором можно было разобрать отрывки полустершихся надписей: «здесь по...», «спи с м...» и т. д.

В те годы, как нам передавали, регулярного сообщения с новым русским кладбищем не было. В дни больших праздников нанимался автобус, на котором

люди получали возможность несколько раз в год навестить своих умерших. Погребения иногда ждали несколько недель, так как в назначенное время грузовики не приезжали. На кладбище была перенесена церковь из Московских Казарм.

Коммунистический режим, угнетая и откровенно презирая живых, с таким же пренебрежением относится и к мертвым. В последние годы, когда в Харбине еще оставались русские — думаю, что их там теперь уже почти нет — похороны были тяжким испытанием. Даже если грузовик приезжал во время, похоронная процессия, вышедшая из города в 10 часов утра, постоянно задерживалась в пути, так что тело предавали земле уже вечером.

Меня всегда поражало полное отсутствие у «новых» китайцев уважения к покойнику и к горю близких. Когда мы еще были в Харбине, это возмущало и оставляло в душе отвратительный осадок: после нас, вероятно, стало еще хуже. Как только у ворот храма останавливалась погребальная колесница, моментально собиралась жадная до зрелищ китайская толпа. Раздавались смех, шутки, всевозможные замечания. Нередко приходилось запирать ворота церкви, чтобы чернь не проникла внутрь. Выносили гроб буквально продираясь через галдящую, глазеющую толпу. Мальчишки, да и взрослые, отталкивали провожавших и подбегали к самому гробу, чтобы заглянуть покойнику в лицо... Когда же процессия, если отпевание происходило в Благовещенской церкви, заворачивала с Китайской на Новогороднюю, всегда оживленную и шумную, это безобразие доходило до высшего предела. Китайские хулиганы делали себе из нашего чинного, благообразного похоронного обряда какое-то бесплатное зрелище и никогда не находилось никого, кто остановил бы их и указал им на все неприличие такого поведения.

На кладбище повторялось то же самое. Толпа буквально лезла на ограду, так что приходилось ставить специальных сторожей, отпиравших и запиравших за каждым входящим кладбищенские ворота. И все хар-

бинцы, конечно, помнят, какое безобразие творилось на Новом кладбище в последние годы, когда воровали с могил буквально все — цветы, иконки, скамейки, все, что можно было продать хотя бы за грош.

Вот уж действительно! При коммунистическом «райском» порядке людям не дают ни жить, ни умереть!

После нашего отъезда православная церковь в Маньчжурии постепенно попала в самое жалкое положение. Номинально Харбинская епархия была подчинена Пекину, где после отъезда последнего русского Владыки Виктора сел рукоположенный Москвой архиепископ Василий, китаец. Фактически же, Харбинская епархия управлялась Харбинским Епархиальным управлением, которое, в сущности, представляло собой «китайскую лавочку», ибо сидели в нем китайцы, говорившие сами про себя: «Мы прежде всего партийцы, коммунисты, а потом уже священники». Одним словом, русская церковь в Харбине, пока она еще существовала, очутилась в руках безбожников.

Судьба православных храмов, созданных русскими, очень печальна. Известно, что в 1966-ом году Св. Николаевский Собор был начисто снесен. Вскоре после нашего отъезда Благовещенская церковь была превращена в цирк. Китайские священники в шапках, с папиросами, ходили прямо по священным предметам; деревянными крестами с кладбища топили квартиры коммунистов. Церковное имущество было разворовано и разграблено и ко всему этому советские представители относились с полным равнодушием.

Думаю, что русские православные храмы в Маньчжурии, как храмы, уже давно существуют только в наших воспоминаниях и уже давно и навсегда замолкли колокола нашей русской Атлантиды, без следа потонувшей в взбаламученном китайском море.

Как много тяжелого в судьбе русских эмигрантов. Гонимые с места на место политическими бурями, свои святыни мы должны уносить с собой и в себе: мы не имеем права привязываться ни к вещам, ни к людям,

ни к местам, ибо ничто не принадлежит нам и наша связь со всем этим непрочна и случайна. Многое осталось позади: город, где прожита половина жизни и где должны были бы сохраниться у каждого из нас теплые человеческие отношения и связи — он стал для нас чужим, и даже враждебным. Школы, в которых мы учились и с которыми связаны лучшие воспоминания молодых лет — давно перестали существовать; и учившие и учившиеся в них разбросаны по всему свету, а наши многолетние друзья или далеко от нас, или погибли, преждевременно и напрасно. И вот нам пришлось примириться еще с одним: что исчезли с лица земли и навсегда смешались с прахом покинутые нами не по нашей вине дорогие могилы...

В ХАРБИНЕ ПОСЛЕ НАС

Как я уже упоминала, мы покинули Харбин зимой 1956 г. Часть нашей семьи еще оставалась там — запаздывали визы, но на семейном совете было решено ехать, кому можно, положась на волю Божью.

После нашего отъезда для «заграничников» опять наступили плохие времена. Прошения о выезде пачками возвращались из консульства с пометкой: «Отказано.» Быт резко ухудшился. За хлебом приходилось стоять в очереди, в трескучий мороз, чуть ли не с пяти часов утра. С трудом доставали дрова и уголь, да и тот низшего качества, который больше дымил, чем горел. Люди мерзли; мяса почти не видели. Достаточно сказать — неслыханная вещь для богатейшей Маньчжурии — что в продаже появилось собачье мясо. Новый консул кричал на посетителей, стучал кулаком по столу: «Я не для того сюда приехал, чтобы выпускать вас заграницу!» Особенно тревожились те, у кого в семье были мальчики: этих-то уж наверное — каркали пессимисты — никогда не выпустят.

Последние достоверные сведения, полученные мною из Харбина, относятся к 1962-му году, когда мне удалось встретиться и поговорить с одним священнослужителем, чудом вырвавшимся в свободный мир. Он долго хлопотал о выезде и, казалось, ему предстоит разделить судьбу епископа Нестора и навсегда остаться за железным занавесом. Хотя он не имел даже подобия советского паспорта — какими были наши советские «виды на жительство» — его судьбой распоряжалось советское консульство, начертавшее на его прошении о выезде: «Не выпускать ни под каким видом». Чистая случайность дала этому служителю православной церкви, после бесконечного ожидания и полной неизвестности о том, что ждет его дальше, наконец выехать из Харбина.

Разговор с ним только подтвердил то, что приходилось слышать и раньше. Атмосфера гнета и насилия, зависимость от тупых и жестоких чиновников, унижения, издевательства, — все, что присуще тоталитарным режимам в Харбине усиливалось с каждым годом в обстановке все растущей нищеты и угрозы не то, что недоедания, но настоящего голода.

Нужно понять, что речь уже шла не просто о нехватке того или другого, не о необходимости каких-то ограничений, не о невозможности «вкусно поесть», то есть о том, что в военные и послевоенные годы в Харбине испытали многие из нас, нет: это был голод, от которого люди умирают, падая на улице, как умер один русский инженер. Магазины пусты, пусты для обывателя: на выставках можно видеть те или другие товары, но попробуйте купить их и вы услышите: «Не продается». Плохо одетая, сумрачная толпа мечется по городу в поисках пищи. Люди уходят за едой с раннего утра и нередко возвращаются домой вечером с пустыми руками.

По словам моего собеседника положение все ухудшалось. Еще в 1961-ом году постом можно было достать рыбу. В 1962-ом это уже стало невозможно. Все подчинялось принципу: «Как можно больше работать, как

можно меньше есть.» Но как везде в коммунистическом мире, партийцы, несмотря ни на что, имели все и продолжали широко снабжаться из особых распределителей всем тем, что для рядовой массы давно уже отошло в область воспоминаний. Да, это правда: коммунисты всегда имеют все. Припомнилось, как в 1955 г., когда мы еще были в Харбине, мне рассказывали, как сослуживцы по Городскому Управлению пошли навестить заболевшую китаянку-коммунистку; она приняла их в постели и они были поражены, увидев ее кружевные ночные рубашки и шелковые халаты, в то время, как население получало в месяц по несколько «чи» линючего бумажного материала.

Русские в то время еще кое-как держались. Фантастически изобретательные китайцы, которые умудрялись еще как-то торговать, находили возможность приносить им время от времени то одно, то другое; своим китайцам они не доставали ничего, боясь доносов. Многие русские получали из заграницы продуктовые посылки — это было, конечно, большой поддержкой. У некоторых еще сохранились кое-какие вещи, которые постепенно выменивались на продукты. Но китайцы ели траву, листья, кору; они нередко приходили в полное отчаяние и, не видя для себя другого выхода, кончали жизнь самоубийством.

Между тем вопрос с заграничными визами для русских нередко тянулся годами. Страх насильственного увоза в СССР усиливался. В 1958-ом году китайское правительство предложило иностранцам — что относилось почти исключительно к русским — так как других иностранцев, насколько я помню, в Харбине уже не было — покинуть страну. А как покинуть, если на руках нет визы? Значит, ехать в Союз?

В Харбине была объявлена новая кампания за экономию. Сметы по всем учреждениям, по всем статьям, были урезаны. Еще понизился и так уже предельно низкий уровень жизни. Русские уже без всякой церемонии стали рассматриваться, как лишние рты, как ненужные потребители все сокращавшегося и сокра-

щавшегося наличия продовольствия. Русскому, по той или иной причине, выпавшему из трудовой цепи, стало почти невозможно снова в нее включиться. А виз все не было и не было...

В 1962-ом году в Харбине оставалось всего около одной тысячи русских. Как и при нас, они ходили и ходили в ДОБ (местное КГБ), ждали, кланялись, просили. Кто из харбинцев не помнит этот знаменитый ДОБ — (Департамент Общественной Безопасности) — на углу Китайской и Сквозной улиц? Его заплеванные коридоры, висящий мутным облаком папиросный дым, недружелюбных, подозрительных чиновников, стража в толстых, ватных штанах и нахлобученной по уши огромной меховой шапке, с ружьем стоявшего у входа в это «чистилище»? Всю эту атмосферу безнадежности, уныния, тоски, которая, как и при нас, тяжелым гнетом ложилась на душу, как только вы переступали порог этого, с позволения сказать, учреждения? Все это было на месте и в 1962-ом году, все, так хорошо знакомое, и весь этот мертвящий аппарат попрежнему жал, давил и мучил неудачников, которые все еще находились под властью его бездушного механизма.

Примерно в то же время до меня дошло из Харбина письмо, написанное одной русской женщиной средних лет, живущей своим трудом.

— «В данное время я сижу при свече и пишу вам письмо. Нас лишили света, и надолго. Над нами нависла гроза, тучи собираются вокруг, мрачные, черные, а просвет может быть только через дорогу, которой не видно, и не знаем, когда она будет. У меня все документы готовы. Я даже имею паспорт ООН, но нет транзита и так ждут многие, как и я; нам все время отвечают, что у Организации нет денег, а тут приближается жуткая зима; говорят, что в эту зиму продуктов будет еще меньше, чем раньше, уголь будет, конечно, самый отвратительный и все, конечно, будет еще хуже... Эта зима, если мы ее переживем, останется у нас всех надолго в памяти. Бог нам послал очень большое испытание. В особенности это будут чувствовать люди без

всяких средств. Я просто не представляю, как мы будем жить. Я никогда не была завистливым человеком, но в настоящее время завидую всем, кто уезжает — ни богатству, ни обеспеченности, а только одна мысль — скорее бы уехать, а вот этого-то и нет.»

БЛАГОСЛОВЕННАЯ МАНЬЧЖУРИЯ

Итак, после нашего отъезда Харбин начал буквально голодать. В Маньчжурии стало нечего есть! Нужно знать, нужно помнить этот богатейший край, чтобы понять, как упорно, как систематически шло разрушение жизни, чтобы дойти до такого жалкого, нищенского состояния. Знакомое каторжное клеймо коммунизма! Страшная печать умственного и материального убожества!

Маньчжурия, край, показавшийся нам сказочно богатым, когда, испытав на себе все тяготы послереволюционного хозяйственного распада России, мы были выброшены эмигрантской волной на его в то время гостеприимные берега. Поистине, это был благословенный край, таивший, казалось, неисчерпаемые богатства в недрах своих лесов, в глубине могучих рек, на просторах своих полей, пастбищ и огородов. Маньчжурия была настоящим раем для рыболовов, охотников, любителей природы и для домашних хозяек, находивших на городских базарах все, что мог только пожелать самый избалованный, самый изысканный вкус. Как они были живописны, как богаты, какой жили веселой, шумной, озабоченной и в то же время беззаботной жизнью, как ласкали взор и веселили сердце своим щедрым изобилием плодов земли и труда прилежных и умелых человеческих рук.

Вот вы входите в главные ворота пристанского базара — (Пристань — торговая, деловая часть Харбина) — и сразу же пленены оживленной суетой, беспрерыв-

ным движением пестрой толпы, снующей между нешироками торговыми рядами базара, сразу же очарованы живописностью общей картины, красочностью отдельных деталей, остротой и разнообразием ароматов, услужливостью и добродушием китайских купцов.

Какая бьющая через край жизнь! Какая насыщенность земной, такой привычной, что мы ее даже не замечаем, но подлинной красотой, какая щедрость и полнота внешнего, видимого, осязаемого и обоняемого мира!

Каждая лавка выставляла на наружных лотках и прилавках «сезонный» товар. То это были рдеющие, как мак, пучки свежей, обрызганной водой редиски или пирамиды упругой, матово-крупичатой цветной капусты, то молодой розовато-нежный картофель или пахнущие весной свежие огурчики; а ближе к осени — отливающие бронзой баклажаны, беспрерывно, до самых морозов, поступавшие на харбинские базары с пригородных баклажанных полей.

Но вот наступал сезон ягод и харбинские рынки наводнялись крупно-зернистой сахарной малиной, томно-матовой, в корзинках или в больших плетеных кошелях, а также искусно поставленными одна на другую берестяными коробками, прикрытыми свежими листьями, под которыми таились аромат, сладость и свежесть первосортной клубники со станций, славившихся своими ягодными плантациями, и в первую очередь с Маоэршани. Клубнику в сезон ели не иначе, как глубокими тарелками и это было доступно почти всем.

Когда же приходила, вся в золоте ранних закатов и туманной прохладе утренних зорь, незабываемая маньчжурская осень, Южная Маньчжурия — (Дайрен, Чифу), — начинала заваливать харбинские базары горами яблок всевозможных сортов: тут были яблоки лимонные, ананасовые, золотая косточка, номер восьмой, номер шестой — да разве все упомнишь, грушами дюшес, розовыми черешнями, а из недалекого Цицикара баржами доставлялись в город тысячи пудов сахарных арбузов, которые не только покупались на базаре, но продавались чуть ли не на каждом углу, в каждой

лавченке, с тротуаров, с возов, так же как и маленькие китайские дыни, невидные, но вкусные и ароматные, которые бывали разложены просто на улице; их покупали сразу десятками, буквально за гроши, и китайцы ели их прямо с кожурой, кусая, как яблоко...

Но вернемся к базару. Как там было много всего и как все было заманчиво и доступно. У входа в лавки громадные плетеные корзины с аккуратно уложенными на соломе — прямо из под кур — свежими яйцами. Обычно, особенно к праздникам в прежние времена, их покупали не иначе, как сотнями. Тут же связки ароматного чеснока и гирлянды рыжего шелушащегося репчатого лука. Внутри темноватых и даже в жаркие летние дни прохладных лавок, в больших деревянных кадках и пудовых жестяных банках мёд; ароматный липовый, парфюмерно-сладкий цветочный, и темный гречушный — на выбор. Янтарное масло, крупичатое, топленое; или свежее, свежайшее — сливочное; белое, как мел, топленое сало, тоже банками, или на вес; густая — ложка стоит — сметана «с линии», которую щедро доставляли многочисленные в то время русские хозяйства. Нет, что ни говори: все это не только для тела, но и для души, которая невольно радуется этой веселой щедрости жизни, щедрости земли и всей природы, приносящей человеку свои чудесные дары в обмен на его кропотливый, пусть иногда и тяжелый труд...

А какую рыбу можно было купить на харбинских базарах! Вы помните белоснежную осетрину, и гордость маньчжурских рек — красавицу нельму, которую многие считали царицей рыбьего царства? Вы помните амура, не говоря уже о более демократических представителях, казалось, неисчерпаемых рыбных богатств Маньчжурии? А женственно-нежная, серебристо-розовая форель, которой славился столь многими любимый Барим, и которую привозили в плетеных кошелках, обложенных листьями, сдавая проводнику «на лед», так она была нежна; которую коптили и целыми

кадками засаливали впрок, чтобы полакомиться и угостить друзей под рюмку водки во время длинных маньчжурских зим? В редком харбинском доме в день именин или других праздников центр стола не был занят огромной рыбиной, разукрашенной узорами из густого ароматного провансаля, с открытым по рыбьи ртом и вставленной в него розеткой из моркови или свеклы. А уж раз заговорив о рюмке водки и хорошей закуске, как обойти молчаньем баримские грузди? Они были одним из самых приятных трофеев летних экскурсий в заповедные уголки баримских сопок. Их засаливали пудовыми банками и подавали со сметаной — и это было божественно-вкусно!

Начинался сезон охоты и на базарах воцарялся красавец фазан в своем фантастически красивом опереньи, повисающий на своей пестрой, грустно склоненной шейке у входа в китайские лавки, рядом со своей скромной, бесцветной подругой. Так они и шли всегда парами — фазан и фазанка, и что это была за царская дичь, с круглыми, мясистыми, как будто надутыми грудками, с мясом белым и нежным как у рябчиков. Их и несли, и везли, и продавали, и дарили, и стреляли, и давили капканами — и все, казалось, неисчерпаемо было это чудесное пернатое богатство маньчжурских лесов и полей. Их вывозили заграницу тысячами ящиков, в Париж, в Лондон, и при огромных закупках их экспортными фирмами так называемый «брак» — сломанная ножка или крылышко, непарные, оторванная головка — можно было купить буквально за гроши, по цене на вес, дешевле обыкновенной говядины. А козуля, а джайран? «Как хороши, как свежи были» козульи окорока и как подкармливались мы ими, покупая прямо от охотников, целыми тушами, так же как и медвежатину, в голодноватые японские времена, когда люди делали так много, чтобы обеднить, сузить и сжать вольный поток жизни, но леса, поля и реки все еще продолжали кормить тех, кто трудился на них или около них.

У каждой хозяйки были «свои» лавки, знакомые

купцы, почти друзья, ласково встречавшие, услужливые, провожавшие с шуткой и поклоном. Смуглые подростки с живыми, темными глазами, проворно ныряли в глубокие подвалы, чтобы извлечь оттуда что-то особенное, припасенное будто-бы специально для вас. Молодцы, летом в бумажных халатах, зимой в ватных куртках и штанах и меховых шапках-ушанках, веселые, румяные и, что греха таить, нередко плутоватые, принимали покупателей, отвешивали, отмеривали, отрезали, получали деньги, как боги считали на своих длинных китайских счетах. Купцы постарше, хозяева, степенно сидели у кассы, или, зимой, около топящихся чугунок, и время от времени неторопливо наливали себе кипящий чай из заботливо прикрытого ватной покрышкой жестяного чайника в плоскую фаянсовую чашку.

Все это образы «старого» Китая, былой Маньчжурии, бывшего Харбина. Они заслонены, увы, более поздними переживаниями, другими картинами и впечатлениями последних лет, легшими на душу поверх светлых воспоминаний далекого прошлого и бросившими на него свою темную трагическую тень...

КОНТРАСТЫ

И наконец свершилось: волею судьбы мы очутились в Сиднее. Первое время было трудно понять, как произошла в нашей жизни эта сказочная метаморфоза. Каким образом мы стали частью огромного мира большой и богатой страны? Не снится ли мне живописная картина бьющей через край жизни прекрасного города, беспрерывный поток машин, сияющие вывески роскошных магазинов, в которых можно найти все, что дала природа или создал человек для своего комфорта или удовольствия; куда-то спешащая, оживленная, беспечная толпа... поэзия большого города, заражающего бодро-

стью, желанием жить... Неужели это не сон и я сама влилась в эту жизнь и стала ее частью?

Но смогу ли я когда-нибудь забыть другую картину, картину в то время такого еще недавнего прошлого? Печальные, плохо освещенные улицы когда-то такого «своего», родного и любимого города; порывы ледяного ветра; редкие прохожие, спешащие куда-то с опущенными лицами, в меховых шапках и шарфах до самых глаз; случайные машины, автобусы или трамваи с немногочисленными, дремлющими пассажирами; редкие кооперативы, еще открытые в сравнительно поздний час в интересах тяжело работающего населения, с их бесцветными выставками термосов, дешевого белья, с рядами простого мыла и других грошевых товаров, однообразных, бездарных, предназначенных для удовлетворения лишь самых насущных потребностей повседневной жизни...

И мы, обломки крушения, выброшенные страшной бурей много лет назад на берега чужой земли, давшей нам возможность жить и работать, но где мы постепенно превратились в нежелательных иностранцев, без заработка, без будущего, в атмосфере едва скрываемого недоброжелательства и с очень слабой надеждой выбраться оттуда в другой, свободный мир!

Я вспоминаю крошечный оазис Коммерческого Собрания, где время от времени мы встречались с друзьями, чтобы с падающим сердцем услышать имена тех, кто уже уехал в Союз, не выдержав давления, издевательств, угроз; и вновь и вновь переживаю чувство смертельной усталости, которое владело нами, чувство, что мы загнаны в угол, в тупик, и что у нас нет почти никаких шансов вырваться отсюда и зажить в нормальной обстановке, нормальной жизнью нормальных людей.

Да, все это было нашей действительностью, которая тянулась и тянулась, как дурной сон. Но вдруг неожиданно непреодолимая преграда, воздвигнутая между нами и всеми нашими планами и мечтами, преграда, о которую мы годами буквально бились головой,

как-будто слегка поддалась, чуть-чуть, ровно настолько, чтобы дать возможность нам и с нами еще небольшой группе, по совершенно непонятным и необъяснимым причинам, выскользнуть из душившей нас сети.

ЛИХОРАДКА СБОРОВ

И вот неподвижная доселе жизнь вдруг пришла в движение. Это был какой-то бег с препятствиями, бег к заветной цели — свободе! Нас погонял страх не утратить предоставленной нам возможности, не лишиться данного нам почему-то права уехать... Мы, как и большинство наших друзей и единомышленников, уже получили ряд отказов в разрешении на выезд и почти перестали надеяться на успех наших хлопот, которые упорно продолжали, несмотря ни на что. Поэтому мы не делали заранее никаких приготовлений, чтобы встретить во всеоружии важнейший момент нашей жизни. Да кроме того, было бы глупо и неосторожно тратить раньше времени те небольшие средства, которые еще были в нашем распоряжении, так как с работой становилось все хуже и хуже, а вещи, которые многие из нас придерживали, как последний рессурс, почти перестали продаваться — русским они были не нужны, китайцы ждали чуть ли не до последнего момента, чтобы получить все по дешевке; между тем, единственное, что позволяло нам надеяться на спасение — а для нас речь шла буквально о гибели или спасении — это была возможность материально выдержать, не сдаться до того невероятного момента, когда, наконец, нам будет разрешено покинуть страну. Ведь мы знали десятки лиц, которые годами ждали такого разрешения в состоянии полной неопределенности и мучительной неизвестности.

Так как мы собирались ехать в теплые страны и

думали попасть в совершенно другие условия жизни, нам нужно было обзавестись необходимой экипировкой и ликвидировать вещи, которые уже не могли нам пригодиться: тяжелые меховые шубы, теплые сапоги, шерстяные платки, меховые перчатки, вязаное зимнее белье. Все это мы большей частью оставляли тем, кто ехал в противоположном направлении, навстречу жестоким морозам и тяжелому труду, скудным заработкам и почти полной невозможности достать на месте одежду, которая защитила бы их от сурового сибирского климата.

Какая погода будет в Гонконге? Что нам нужно иметь, чтобы прилично выглядеть на пароходе? В чем мы сойдем на берег в Австралии? Все это нужно было решить и обо всем позаботиться в условиях невероятной спешки, так как времени у нас было в обрез. Жесткие правила, царившие в то время в Харбине, не разрешали тянуть, откладывать, задерживаться, ждать друзей или родных, которые еще оставались, но надеялись вскоре последовать за нами. Поэтому это время отмечено памятью как время лихорадочной спешки, суетни, беготни туда и сюда во всякие часы дня и ночи, время, когда мы что-то покупали и что-то продавали, совещались с портными, портнихами и сапожниками, заказывали сундуки, чемоданы и ящики, налаживали замки и ремни, и все это — скорей, скорей! в каком-то тумане нереальности, сознавая и в то же время не сознавая до конца предстоящую нам совершенно фантастическую перемену жизни.

Квартира наша выглядела Бог знает как — ободранная, растерзанная, со снятыми коврами, занавесками и драпировками. Она подверглась нашествию толпы торговцев-китайцев; они алчно накинулись на нашу мебель и другие вещи, которые мы продавали за гроши, чтобы отделаться от них и выручить хоть что-нибудь. Они приходили и уходили, торговались, спорили, кричали и тащили прочь то столовые стулья, то диван, то гардероб; или посуду, которая была нам уже не нуж-

на; или связку книг, которые мы не решались взять с собой. Особенно бойко шла торговля бумагой на вес: у нас оказалось несколько шкафов старых дел и архивов, накопившихся за много лет; на них у китайцев буквально разгорелись глаза, ибо бумаги нельзя было достать в городе ни за какие деньги.

Наша жизнь как-будто обнажилась, стала жалкой и неуютной. Сидеть было не на чем; почти никакой посуды уже не оставалось, а чувство нереальности, неуверенности все таилось где-то в глубине сердца и страх... страх, что в самый последний момент нас остановят, задержат, неожиданно скажут: «Стоп ни с места!» — как это уже не раз бывало с другими. Мы все знали этих несчастных, которые, отказавшись от работы, или уволенные с нее, распродав все до последнего гвоздя, не могли, несмотря на консульскую печатку на паспортах, получить от местных властей разрешения на выезд и должны были спать на полу, занимать посуду у соседей и наконец, постепенно, распаковывать ящик за ящиком и продавать уложенные в них вещи, чтобы купить себе кусок хлеба.

И все же, так как никто и ни в чем не был уверен, было совершенно необходимо заранее приготовить полный список вещей с переводом на китайский и до мелочей закончить подготовку к отъезду прежде чем обращаться в ДОБ за выездной визой. Совершенно дикие порядки были введены китайскими властями в отношении уезжающих: если некоторых по неизвестным причинам без конца задерживали, других, по таким же таинственным соображениям, выталкивали, выбрасывали, буквально выгоняли из страны. Им давалось два-три дня, чтобы упаковать вещи, ликвидировать дела и уехать. Я видела, как люди стремительно, совершенно ошалев, вылетали из знаменитого здания на углу Китайской и Сквозной улиц буквально в невменяемом состоянии: после многолетних ожиданий они получали не предложение, а приказ ехать с предупреждением за несколько дней и это после того, как они прожили в

стране по тридцати и более лет. Никаких отсрочек не разрешалось: не помогали ни мольбы, ни слезы, ни болезни. Если вы пропускали назначенный вам срок, разрешение на выезд беспощадно аннулировалось... И вот приходилось укладываться по ночам, днем улаживать последние формальности — все это в безумной спешке; не было времени ни проститься с друзьями, ни нормально ликвидировать имущество, ни обдумать и устроить дела. Без сна, без отдыха, задыхаясь, приходилось кое-как, в ужасном беспорядке паковать те ящики, чемоданы и сундуки, которые оказывались под рукой и в состоянии полной прострации спешить на вокзал ранним утром, чтобы в конце концов, немного прийти в себя, после торопливых рукопожатий, объятий и поцелуев, неся на сердце тяжесть не сказанных прощальных слов и чувствуя на утомленных веках едкую горечь непролитых слез, в душном купэ вагона, который, медленно, под аккомпанимент какой-нибудь веселенькой мелодии станционного радио, приходил в движение, набирал ходу, ускорял ритм... И вдруг понять: О Боже! Неужели мы едем, едем, неужели это действительно происходит с нами, и в первый раз до конца осознать, что это не сон, а действительность...

Что до нас, то мы собирались в более нормальных условиях, так как хорошо зная обстановку, мы проявили осторожность, использовав до предела тот небольшой срок, который был в нашем распоряжении перед тем, как выехать, и не подавали на визу в ДОБ раньше, чем были почти готовы.

Кроме того, так как часть нашей семьи все еще оставалась в Харбине, мы ликвидировали только самое ненужное, многое передав в распоряжение остававшихся, чтобы помочь им в трудное, переходное время.

В тот период — не знаю, как было потом — китайские власти в отношении личного имущества не ставили никаких ограничений. Можно было вести все: меховые пальто, серебро, посуду, белье и платье. Что касается золотых вещей, разрешалось брать с собой

только несколько унций и это проверялось довольно строго. Многие, особенно состоятельные дамы, придумывали всевозможные хитрости и уловки, чтобы провести свои вещи контрабандой; мне кажется, что многим это удавалось. Остальное имущество забирали с собой часто до последнего веника, набивая десятки ящиков и сундуков. Мне рассказывали, что во время осмотра в таможне китайские чиновники при виде веников иронически спрашивали, зачем их берут с собой: разве заграницей нельзя купить веника? На это отвечали, что купить-то можно, да первое время денег не будет: когда еще начнешь зарабатывать, а вывозить разрешалось какую-то минимальную сумму, сейчас не помню, сколько именно.

ПРОЩАНИЕ

Увы, в сумятице противоречивых чувств, страдая за тех, кто должен был ждать и с которыми мы расставались надолго, быть может навсегда, страшась неизвестного будущего, мы не чувствовали той радости освобождения, которую мы столько раз заранее предвкушали; она как-то поблекла, потускнела и оглядываясь на длинный ряд лет уходящих вдаль вплоть до того момента, когда мы приехали в Маньчжурию, и прощаясь с нашим прошлым, мы чувствовали на сердце тяжесть и не находили слов, и не знали, что сказать друг другу...

Ведь мы покидали город, в который приехали детьми или еще полными сил, совсем молодыми людьми; где первый раз пошли в школу; где жили счастливой и дружной семьей, переживая вместе и радость, и неизбежное горе. Где на каждом шагу, за каждым углом оживали знакомые, дорогие лица и, казалось, вновь говорили с нами только нам одним понятным языком...

Город, с которым мы сроднились несмотря ни на что, и отрывали теперь от сердца как что-то сросшееся с ним, некогда любимое и близкое...

Да, в суете и спешке тех сумбурных дней мы чувствовали непреодолимую потребность проститься с городом, как с живым существом, из которого, по необходимости, неумолимо уводила нас судьба. Как странно, как страшно изменилось его лицо; раньше он был полон жизни, движения; он дарил нам незабываемые минуты радости, он звал, он манил куда-то. Теперь он казался мертвым: краска на домах осыпалась, слепо смотрели окна из под слоя грязи и копоти; заборы и калитки были разрушены и большей частью растащены, мостовые в ухабах, улицы еле освещены, сады заброшены и запущены...

Мы проходили по знакомым местам, невольно задерживаясь, невольно останавливаясь на памятных перекрестках, где как-будто раздавалось эхо когда-то сказанных, запомнившихся сердцу слов; шли к знакомому, о, как хорошо знакомому дому: он выглядел теперь грязным и мрачным. Из разбитых окон торчали железные трубы, на ступеньках пологой лестницы копошились немытые, нечесаные ребятишки. Куда девалась та веселая молодежь, которая когда-то оживляла его своими песнями, смехом, своими громкими голосами? Все это отзвучало, отшумело, отжило свое, и постепенно погружается в забвенье.

Еще раз взглянуть на красавицу Сунгари, медленно пройтись по ее широкой, пустынной набережной. Как она неприветлива, как пасмурна, как дышит холодом, как будто забыв обо всем, что так щедро дарила в былые годы: радость жизни, прелесть бесконечных прогулок, горячее прикосновенье своих золотых песков, ласку и негу своих неторопливых вод, отражавших слепящие глаза яркие солнечные блики, или причудливые краски палитры медленно тлеющих, сказочно-прекрасных осенних закатов. Осень на Сунгари... как запомнилась она, как-будто сфотографированная памятью:

"Какой покой во всем... Прозрачная хрустальность, и тишина, и гладь... ни вздоха, ни волны. Лишь весла бороздят застывшую зеркальность, да паруса шаланд медлительных видны. Все очертания отчетливы и четки, лишь город за рекой окутан в серый газ. Сидим в затопленной наполовину лодке, а солнце в облачке как золотой топаз. Так ясно даль видна. Вон тянут в баржу сети и рыбы серебро блеснуло вдруг на миг; не будем же грустить о промелькнувшем лете, у осени есть свой неповторимый лик. Уж ржавчина сквозит в узорах винограда, цветы-ж неистовы, пылают как костер, и вкраплены янтарь и пурпур в зелень сада, а воздух сентября и сладок, и остер. Корзины на возах полны богатства края, лиловых баклажан отсвечивает лак, и низко тянет вдаль гусей тяжелых стая, и перец пронесли, пунцовый, словно мак. Да, зори отцвели, рассветов вешних зори, закаты-ж осени багряны, как пожар... И тот блаженно мудр, кто с временем не споря, пыл загасил в крови, храня душевный жар!"

Сентиментальное путешествие в прошлое! «О, память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной...» Но ее заслоняет властно требующее к себе внимания живое, трепетное, мучительное настоящее. После стольких лет, проведенных в Харбине, создались крепкие, дружеские связи, образовался круг людей, с которыми мы находили общий язык. Одни из них уже уехали, другие только собирались пересечь роковую границу, которая теперь невидимо легла между нами. В то время казалось, что уехавшие «туда» были потеряны для нас навсегда: нам предстояло жить в двух совершенно разных мирах, таких же далеких и чуждых друг другу, как земля и луна. Впоследствии в этом отношении кое-что изменилось: те, кому удалось уцелеть, наладили через много лет связь со своими друзьями из сво-

бодного мира; но тогда мы считали, что это была разлука навсегда! Для большинства это так и было на самом деле.

Уезжавшие в Союз не чувствовали себя счастливыми, или во всяком случае вполне счастливыми и уверенными в своей судьбе. Большей частью они уезжали с затаенной тревогой, с еле скрываемым страхом. У них было мало надежды встретить теплый прием со стороны родины и будущее, лежавшее перед ними, было окутано мраком полной неопределенности и таило в себе неведомые опасности и скрытые угрозы. Но они по той или иной причине должны были ехать. Они сделали свой выбор и тут уже ничего изменить было нельзя.

Но немало еще оставалось людей, к судьбе которых мы не могли относиться равнодушно. Многие из них годами терпели и ждали. Они радовались за нас, но мы страдали за них и нам тяжело было оставлять их во власти беззаконного коммунистического режима, для которого личные права — пустой звук и человеческое существо, маленькое, жалкое, стоит лицом к лицу с всепожирающим чудовищем — Государством!

После прощальных визитов нашим живым друзьям мы должны были еще отдать последний долг дорогим ушедшим. Да, за те годы, что мы провели в Харбине, Новое кладбище на городской окраине разраслось в целый городок. В тот день был жесточайший мороз. Кладбище покоилось под снегом и наши красные гвоздики выделялись ярким пятном на его девственно чистом покрове.

О судьбе русских кладбищ в Харбине я рассказала выше. Ко времени нашего отъезда тысячи людей уже покинули город и сотни могил, о которых раньше заботились любящие руки, стояли теперь заброшенные и забытые. Все русское в Харбине уходило, кончалось, умирало и постепенно канет в вечность, как будто и не было никогда в истории русского рассеяния этого необыкновенного города и нашей необыкновенно сложившейся в нем судьбы.

МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ДРУГ

И еще одна забота тяготила меня. Забота о моем маленьком друге, пекинской собачке Джерри. Нежное, хрупкое существо, с большими выпуклыми глазами, с мягким теплым язычком и длинной шелковистой шерстью. Она спала около моей кровати. Я сама кормила ее и она всегда была со мной, уютно примостившись у меня на руках. Я брала ее на прогулки, в гости, на пикники... Она чувствовала нежность к моим друзьям и терпеть не могла тех, кого считала врагами. У нее был смешной, высокий голосок и я знала, что мне принадлежит без остатка вся нежность ее маленького сердца. И все-таки я не могла взять ее с собой. Она должна была остаться и чувствовала это. Она стала какой-то нервной, несчастной; плохо ела, беспокойно спала. Она смотрела на меня своими влажными глазами и вдруг начинала дрожать всем своим маленьким тельцем. Она страдала, мой бедный дружок, и я ничем не могла ей помочь.

Наши немые четвероногие друзья — это было одной из сопутствующих, «малых» трагедий той эпохи нашей жизни. Охотничьи собаки, которые из года в год делили со своим хозяином все случайности веселого бродяжничества на лоне природы; комнатные собачки, живые игрушки своих владелиц; кошки с их таинственными глазами и ленивыми, полными грации движениями... в нашей жизни для них больше не оставалось места. А для многих из них вообще уже нигде не было места. Друзья, которые еще задерживались, но мечтали вскоре выбраться сами, с большой неохотой соглашались взять на себя это живое бремя. Что касается китайцев, они не любят животных и никто из нас не решился бы доверить им судьбу своих любимцев. И вот, большей частью оставалось одно — укол. Но это было тяжело, очень, очень тяжело. Многие так и не решились на это и просто бросили своих животных, оставив их на волю случая, и в то время в Харбине нередко можно было наблюдать бедную, голодную кошку, или несчастную, бездомную собаку, которые,

как потерянные, блуждали около дома, покинутого их уехавшими господами, все еще не понимая всей глубины своего несчастья и тайно надеясь, что вот хозяева снова вернутся и все пойдет по старому. Но нет, хозяева уже больше никогда не вернутся, никогда...

Одна из моих приятельниц сжалилась надо мной и взяла к себе Джерри накануне нашего отъезда. Но все ее заботы оказались напрасными — очень скоро Джерри не стало: она не выдержала разлуки.

Да, это было время разлук... Один или два вечера были посвящены чтению в последний раз старых писем, просмотру старых фотографий. Чем меньше из всего этого мы брали с собой, тем лучше. Мы не смели рисковать, придраться могли к одному слову, к одной строчке, и передав в верные руки то, что мы ценили больше всего, остальное мы предали огню. Полыхало пламя и бросало отблески и тени на грустные глаза и слегка дрожавшие руки — дань невозвратному прошлому!

ОТЪЕЗД

Машины были заказаны на 3 час. утра. Мы должны были быть на вокзале в четыре. Мы ужасно нервничали, на душе было тоскливо. Таможенный досмотр, через который мы проходили в течение двух предыдущих дней, был проведен в такой тяжелой, можно сказать, безжалостной форме, что мы чувствовали себя совершенно разбитыми. Каждую вещь вынимали, перетряхивали, рассматривали на свет. У кастрюль простукивали дно. Книги перелистывали страницу за страницей и никак не могли понять, почему так странно напечатаны строчки стихотворений, и что это такое, и для чего это? Все чего-то искали, о чем-то допытывались, заранее считая нас в чем-то виноватыми и как-будто

ища предлога, чтобы задержать нас. Мы так устали, так были измучены, что говорили и двигались как автоматы, потеряв способность нормально реагировать на происходящее.

Последнюю ночь мы не спали — укладывали ручной багаж, заканчивали кое-какие последние дела и старались использовать, удержать, продлить эти последние часы, которые мы могли еще провести с теми, кого мы покидали при таких тяжелых и грустных обстоятельствах. Будущее казалось нам мрачным и тревожным, а мысль о прошлом неотступно следовала за нами.

Даже до сих пор тяжело вспоминать эту холодную, зимнюю ночь, тускло освещенные, пустынные улицы, плавный бег машин мимо знакомых мест, которые мы скорее угадывали чем видели в последний раз в туманной, морозной мгле; грязь и вонь вокзала, переполненного китайскими пассажирами, бродившими по залам, или спавшими на полу, положив голову на тюк со своими скудными пожитками; и то, как привычно сжал сердце томительный страх, что в самый последний момент нас вдруг задержат, неизвестно почему; и издевательство над нами китайского чекиста на контрольном таможенном пункте, буквально за десять минут до отхода поезда грозившего аннулировать выданное нам разрешение на выезд; и как мы, в безумной спешке, заталкивали обратно в ручные саквояжи наши вещи, вываленные в кучу на грязный пол, и потом бежали, задыхаясь, по подземному переходу к платформе, у которой уже ждал наш поезд, вот-вот готовый отойти...

Я вспоминаю торопливые поцелуи, рукопожатья, слова прощанья... и как внезапно мы почувствовали, что поезд уже пошел, тронулся со станции, и фигуры провожавших стали уходить от нас, удаляться, съедаемые растущим между нами пространством; и какими они показались нам жалкими, заброшенными и несчастными, когда маша платками, они все еще старались улыбаться плохо повиновавшимися губами.

Мы были как каменные и уж ничего не могли ни чувствовать, ни сознавать, как нормальные люди. Мы

были смертельно утомлены, и физически, и нравственно. Уже в вагоне, до самой последней минуты, нас продолжал терзать невзрачного вида маленький китайский чекист, с падающей на низкий лоб прядью смолисто черных волос и с бледным, злобным лицом, предупреждая, чтобы мы не особенно радовались: в Тяньцзине нас ждет еще одна проверка, еще один допрос и вполне возможно, если не все окажется в порядке, что нас дальше не пустят. Нечего сказать, подбадривающее напутствие! Но наша реакция была уже притуплена: мы не могли ни говорить, ни понимать как следует, чего еще добивается от нас этот маленький выродок.

День в душном вагоне казался бесконечным. Рычащее радио выплевывало попеременно то какую-то крикливую китайскую музыку, то последние новости. Когда, наконец, я смогла расположиться на своей скамейке и вытянуть усталое тело, спать я не могла, а лежала с закрытыми глазами, переживая вновь и вновь последние дни в когда-то любимом и родном городе.

В ТЯНЬЦЗИНЕ

Я вновь увидела Тяньцзин, в котором была когда-то много лет назад, проезжая с вокзала по его улицам в легкой колясочке китайского рикши.

Широкие улицы, прекрасные здания, почти никакого движения, редкие прохожие.

Мы должны были провести в Тяньцзине около двух недель, чтобы дождаться багажа, выполнить все нужные формальности и заказать места на пароходе.

Огромный «Талатти Хаус», когда-то лучший отель богатого и жившего полной жизнью города, выглядел теперь запущенным и второклассным; прислуга была одета неряшливо, скатерти грязноваты, обед почти несъедобен, подача ниже всякой критики.

Великолепный простор Виктория Род, с ее величественными зданиями банков, иностранных консульств, муниципалитетов — британского и французского — страховых обществ, пароходных компаний, теперь, когда это все было брошено их хозяевами и перешло в ведение местных властей, казалось неживым, каким-то опустевшим и никому не нужным. Знаменитое кафе «Виктория», которое во времена американской интервенции было все отделано заново и украшено великолепной мраморной лестницей, ведущей наверх, на широкий балкон, где можно было поесть с полным комфортом, наслаждаясь музыкой первоклассного струнного оркестра, теперь пустовало, если только не было транзитных пассажиров из внутреннего Китая. Чаевые были отменены и равнодушные лакеи всем своим видом усиленно подчеркивали, что посетители представляют для них мало интереса.

Раз в неделю, по субботам, кафе заполнялось китайской публикой, которая ест, пьет и наслаждается по своему. В другие дни там можно было видеть только унылые, слонявшиеся без всякого дела одинокие фигуры, большей частью европейцев, которые играли в домино, беседовали со случайными знакомыми, нехотя пили кофе... Они были жалки, эти люди, без работы, с сомнительными перспективами на будущее, зачастую полуголодные...

Мы встретили там одного человека, которого знали когда-то, много лет назад, в Харбине. Он был по профессии военный летчик — в то время живой, интересный, уверенный в себе... Теперь мы с грустью отметили на нем печать одинокого и жалкого существования: без денег, без занятий, без надежд. Прощаясь, он сказал: «Скажите им там, они должны помочь нам; мы здесь сидим без работы, нам здесь нечего делать, мы буквально пропадаем. Если они действительно хотят помочь, пусть торопятся, иначе будет поздно. Где наши визы? Мы добиваемся их годами, а их все нет и нет... Неужели мы будем вынуждены ехать в другом напра-

влении? Для многих это хуже смерти!»

Во время наших блужданий по городу нам нередко преграждало путь скопление народа, молчаливо взирающего на зрелище, до которых так падки китайцы: это были процессии, с развевающимися красными знаменами, с грохотом барабанов, пронзительной музыкой. Они демонстрировали народное ликование по случаю новой большой перемены в жизни города — национализации всей частной торговли, перешедшей отныне в руки государства, причем старые хозяева большей частью оставались вести свое прежнее дело, но теперь уже в качестве платных служащих казны.

Вечером, недалеко от того места, где нам были отведены комнаты, происходил грандиозный митинг. С высоты воздвигнутой посреди площади эстрады, украшенной кровавыми флагами и обычными кричащими лозунгами, раздавались революционные речи. А позже было что-то вроде карнавала: китайские юноши и девушки, вероятно, китайский комсомол, с видимым удовольствием отплясывали какой-то замысловатый танец, а большая толпа простого народа в молчании наблюдала за ними, спрашивая себя, казалось, как раскулаченным и заарканенным государством людям удастся выжить и на что они будут покупать пищу своему многочисленному потомству, так как тощего жалования, назначенного властями, было явно недостаточно.

Да, то был период, когда казалось, что времена изобилия для Тяньцзина, в котором и европейское, и местное население, каждое имело свою долю, безвозвратно миновали. С тех пор многое изменилось, но как не сказать, что тяжел и тернист путь, по которому ведут за собой правители нового Китая свой народ, прекрасный, трудолюбивый, всегда усердно трудившийся китайский народ, который имеет все: — обширную, богатую страну, быстрый ум, искусные руки, ярко выраженные способности к науке и торговле, но который никогда не имел и не имеет мудрых правителей и преданных, бескорыстных друзей.

МЫ ПУСКАЕМСЯ В МОРЕ

Накануне нашего отъезда из Тяньцзина мы еще раз должны были пройти через осмотр наших вещей местной таможней. Снова все наши ящики и сундуки были раскрыты, их содержимое вывернуто на разостланные по полу цыновки и все вещи проверены, одна за другой. Наш чайный и обеденный сервизы и несколько хрустальных ваз не имели ни малейшего шанса уцелеть. Небрежно и торопливо, они были кое-как засунуты обратно по своим местам и выразили протест против такого обращения: в Сидней пришли одни черепки. А как заботливо и тщательно их паковали в Харбине — увы, все наши труды пропали даром!

В последний вечер, проведенный нами на китайской земле, мы ужинали у наших друзей. Мы пили вино, говорили речи, провозглашали тосты и делились своими воспоминаниями. Мы старались казаться бодрыми и веселыми. Мы делали, что могли, чтобы поднять настроение. Но когда, около полуночи, мы очутились в лакированных колясочках рикш, бесшумно двигавшихся одна за другой в холодной темноте совершенно пустых улиц, наше наигранное оживление осело в душе тяжелой горечью и еще никогда в жизни мы не чувствовали себя такими одинокими, заброшенными и никому не нужными, как в ту ночь.

На следующий день — торопливая укладка ручного багажа, последний завтрак в «Виктории», цветы, рукопожатия, объятия, обещания писать... И снова наша маленькая кучка «плавающих и путешествующих» ждет перед посадкой на пароход последнего таможенного досмотра. На этот раз все было очень просто: китайская девица в штанах и в форме таможенного чиновника указала, какие чемоданы нам следовало открыть, бросила взгляд на их содержимое, нырнула рукой под верхний слой вещей, и все было кончено, последний барьер благополучно взят и мы были готовы отправляться в путь.

Ночь мы провели на борту парохода, но отплыли

лишь на следующее утро. Было холодно, неуютно... Быстрая река влекла к морю куски льда; небо было покрыто тучами. Все мы стояли на палубе, чтобы сказать «прости» Китаю. У многих на глазах были слезы. Неожиданно, длинная процессия китайской молодежи, вытянувшись из-за угла, двинулась по набережной мимо нашего парохода, с цветами, знаменами, лозунгами. Они пели русскую песню и хотя мотив ее звучал для нас как что-то родное, китайские слова придавали ему какой-то странный и непонятный смысл. Мальчики что-то кричали нам, размахивали цветами: «Цзай-цзян», «Цзай-цзян»... До свиданья, до свиданья! Мы уезжали, они оставались. Фактически, мы просто удирали: даже им это должно было быть понятно. И все же в них не чувствовалось недружелюбия, неприязни по отношению к нам. Как ни старались правители «нового» Китая заставить простой народ ненавидеть нас, мы все оставили в Китае много настоящих, искренних друзей. Они нередко говорили нам: «Вы должны ехать, вы счастливые... Но нам нужно оставаться: это наша родина, нам некуда ехать!» И они не боялись говорить с нами совершенно откровенно, так, как они никогда не рискнули бы говорить со своими соотечественниками.

Наконец сходни были убраны. Пароход медленно повернулся; берег стал отодвигаться и мощное течение реки подхватило нас и понесло к морю.

И все же мы не испытывали чувства свободы. Мы не могли стряхнуть с себя ощущения неуверенности, тревоги... мы слишком сжились с ними в коммунистическом Китае. Мы плохо спали. Мало разговаривали. На каждой остановке — в Таку, в Циндао, в Шанхае — моторный катер пришвартовывался к борту нашего парохода, отряд политической полиции подымался на палубу, обходил кабины, проверял визы и другие документы. Потом он приступал к обыску китайской команды. Все это создавало атмосферу напряженности и порождало тягостное сознание того, что мы все еще не совсем свободны и что эти узкие, темные глаза, эти бесстрастные лица таят в себе неведомую опасность.

С борта парохода мы простились с Шанхаем. Сойти на берег нам не разрешили. С верхней палубы мы смогли полюбоваться живописным Бандом, узнать и назвать друг другу хорошо известные всем здания, украшающие шанхайскую набережную. Они все были на месте, наряженные в алые полотнища с золотыми иероглифами, но и в помине не было движения, жизни, которые раньше били через край на этой мощной артерии гигантского города. Порт, когда-то третий в мире, кишевший пароходами со всех концов земли, тоже казался пустым и молчаливым, за исключением одного-двух судов китайской береговой охраны, грозивших неведомому врагу жерлами своих орудий, да десятка-другого китайских джонок с их жалкими обитателями, которые родились, проводили всю свою жизнь, женились, рожали детей и умирали на этих убогих суденышках.

Теперь Шанхай вновь изменил свой облик. Опять в нем жизнь, опять оживает его гавань, работают бесчисленные фабрики и заводы, но иностранцы там гости, пока что не всегда желанные, а прежний Шанхай, с его широким размахом, международный, богатейший город, грешный, блестящий, многоплеменный, единственный в своем роде, канул в безвозвратное прошлое и навсегда отошел в область воспоминаний.

Но вернемся к прерванному рассказу.

НОЕВ КОВЧЕГ

В Шанхае мы приняли на борт новых пассажиров — небольшую группу привычных, международных путешественников, которые сильно отличались от сдержанных, замкнутых людей — наших первоначальных спутников, из которых многие были уже немолоды, другие недомогали и большинство чувствовало себя неуверенно в непривычной, чужой обстановке.

За последние годы, проведенные в Харбине, мы отвыкли от новых лиц и потеряли всякую связь с иностранцами, которые покинули город много раньше нас, не видя никакой возможности вести дела при коммунистическом правительстве. Поэтому мы с любопытством и интересом присматривались к нашим невольным «товарищам по несчастью».

Вот современная китайская дама, одетая с изящной простотой. Ее главная забота — две атласисто-черные таксы, которых она старается устроить с возможным комфортом. Ей было разрешено покинуть Китай, чтобы соединиться со своим мужем, голландцем. Она вежливо улыбается и держится особняком.

Немецкое семейство; он крупный, громоздкий человек, грубой наружности, неприветливый с виду; его жена — поблекшая женщина все еще сохранившая претензии молодости, а дочь — блондинка с миловидными чертами лица, свойственными ее расе, но с холодными глазами и жесткой складкой рта.

Австрийский еврей, имеющий две профессии — зубного врача и спортсмена, полный оптимизма, крепкий, всегда оживленный, каждое утро проделывающий на верхней палубе какие-то сложные гимнастические упражнения. Он бежал из Австрии в Китай во время Аншлусса, а теперь направлялся в Бразилию со своей женой, полукитаянкой, дочерью знаменитого китайского художника, и ее матерью, француженкой. «Что за смесь!» — скажете вы — да правда ли это?» Но жизнь способна и не на такие выдумки! Когда я спросила его что-то о его бывшей родине, он как-будто чуть-чуть изменился в лице под своим бронзовым загаром и ответил: «Я стараюсь не вспоминать. Я никогда не вернусь туда, никогда!» Мне потом говорили, что из всей семьи уцелел он один. Его теща, мадам Хун-И, выглядела очень бледной и очень грустной: она покинула своего мужа-художника, чтобы быть с дочерью и у нее было мало шансов, когда-нибудь соединиться с ним. Она не была красивой, но ее отличала своеобразная изысканность человека большой культуры и очарование покор-

ности. Мистически настроенная, она на многое смотрела со своей особой точки зрения и старалась безропотно подчиняться необходимости.

Потом была еще одна русская дама, в брюках — которые для нас, в то время силой вещей превратившихся в глубоких провинциалов, были еще новостью. У нее была тонкая, мальчишеская фигура и волосы, уже тронутые сединой. Она с одинаковой легкостью изъяснялась на русском, английском и французском языках. Направлялась она в Соединенные Штаты. Казалось, ее единственной заботой были две японские собачки, одна из них полуслепая, для которых она приспособила на верхней палубе деревянный домик и которых кормила и ласкала с утра до вечера. У нее было с собой два небольших чемодана, все ее земное добро, но она, казалось, с величайшим равнодушием относилась к тому, что ждет ее впереди.

И к этой же группе принадлежала одна супружеская пара. Он — шанхайский коммерсант — (а значит, ловкий, оборотистый человек) — она — еще довольно эффектная крашеная блондинка, бойко, по-шанхайски болтающая по-английски, в дорогом меховом манто. Муж ее оказался опытным путешественником, знакомым со всеми правилами и распорядками, шумный, чуть-чуть назойливый со своими советами и указаниями, которые, впрочем, он предлагал весьма добродушно и, конечно, безвозмездно. Все, или почти все потерявший в коммунистическом Китае, он надеялся найти себе где-нибудь в Южной Америке возможность начать жизнь сначала и, сам не унывая, невольно подбадривал и остальных.

И все они, каждый со своей особой судьбой, со своей личной, принадлежавшей только им единственной и только один раз дарованной жизнью, были жертвами длящейся драмы современной цивилизации, оторванные от родной почвы, люди без корней, без защиты, несущиеся куда-то в неведомое, как мертвые листья, взметенные холодным порывом ветра ранней зимы. И мы — среди них; и мы — одни из них!

А где-то на заднем плане, ничем не похожие на эту смеющуюся, болтающую, шумную кучку наших новых спутников, детей международного Шанхая, небольшая группа молчаливых русских женщин, которые чувствовали себя совершенно потерянными в этом непривычном, столь чуждом им мире. Простые, незамысловатые существа, они большей частью ехали к своим детям в Соединенных Штатах, в Австралии, или в одной из стран Южной Америки. Некоторые из них, впрочем, должны были поступить в один из старческих приютов, разбросанных по всему миру. Оне говорили только на своем родном языке, с неохотой ели то, что подавалось за столом: «Эх, щей-бы, огурчика соленого, а то все эта преснятина и преснятина...» Оне тосковали по покинутой стране, где многие из них провели лучшие годы жизни; страдали от морской болезни и казались здесь трагически не на месте в своих бумажных, доморощенных платьях, головных платках, со своими простыми русскими лицами, добрыми глазами и огрубевшими от работы руками. Их спутники, мужчины, как это всегда бывает в критические моменты жизни, явно искали у них поддержки и опоры.

Если мы прибавим к этому пестрому населению нашего парохода несколько человек британцев из нашей команды, то можно было сказать, что это настоящий Ноев Ковчег, и было трудно понять, почему все эти люди не могли спокойно оставаться на своих местах и устраивать свою жизнь по своему; почему они не могли жить в привычных для них условиях, или вернуться к себе на родину, вместо того, чтобы пускаться в этот далекий путь, надеясь вновь создать себе где-то «там» свой «дом», свой очаг — единственное в сущности что нужно каждому человеку.

И позади всего этого и над всем этим, поглощая все и все собой наполняя — огромность моря, катящиеся волны, порывистый ветер, которые медленно, постепенно, приносили нам успокоение и обращали наши мысли к иным вещам, более значительным и важным, чем превратности нашей земной судьбы.

МЫ ПРИЕЗЖАЕМ В ГОНКОНГ

Гонконг... синоним экзотического очарования, фантастический город на острове, центр, в котором сходятся тысячи разнообразных интересов, жемчужина восточных морей! Это был первый город, куда мы ступили свободными людьми, оставив позади все свои опасения и страхи.

Мы приехали в Гонконг накануне китайского Нового Года и стали на якорь на некотором расстоянии от берега, до следующего утра, когда должна была произойти высадка. Ночь была прохладная и тихая. Пассажиры высыпали на палубу, привлеченные огнями этого волшебного города, горевшими все ярче и ярче и, как дети, пришли в восторг от открывшегося перед ними феерического зрелища.

Гонконг встретил нас тысячами, нет, миллионами своих разноцветных огней — зеленых, желтых, красных, как будто специально устроил в нашу честь грандиозную иллюминацию. Его сверкающий консус напоминал гигантскую рождественскую ёлку, на которую мы любовались с расстояния и которая, казалось, таила для нас в своей загадочной глубине редкие подарки, прелестные неожиданности, обещания чего-то прекрасного и радостного, что ждет, непременно ждет нас на его гостеприимных берегах.

На следующее утро моторный катер высадил нас на одной из пристаней Коулуна. Нас встретили друзья и, оставив свой багаж позади, мы смешались с праздничной толпой города, шумной, веселой, яркой. После тишины нашей обесцвеченной жизни в Харбине, после спокойствия и однообразия дней, проведенных на пароходе, движение, блеск, праздничное настроение кипящих народом улиц показались нам почти нереальными. Мы были буквально ошеломлены силой новых, нахлынувших на нас впечатлений. Многочисленные автомобили, двухярусные автобусы — которые мы видели в первый раз — и, главное, толпа, беззаботная, преисполненная какой-то ликующей радости — все это на фоне

бирюзово-синего неба и сапфирово-синего моря, под шатром экзотических, широколиственных деревьев, осеняющих главную улицу Коулуна, Нэтэн Род, представляло собой для наших неизбалованных глаз поистине волшебное зрелище.

Элегентные молодые китайцы, безукоризненно одетые и выхоленные, с манерой держаться, свойственной представителям восточных рас, исполненной особой изысканности; их дамы, одетые в шелк и бархат, подкрашенные и наманикюренные, с волосами, черными, как смоль, уложенными по самой последней моде; женщины, в которых своеобразно слились восток и запад; длинные разрезы узких, облегающих фигуру юбок, или стилизованных китайских халатов, показывали далеко выше колен точеные, стройные ноги — наследие столетий, когда китайские женщины не могли и не должны были много ходить своими изуродованными ножками, неестественно маленькими в результате различных традиционно производившихся над ними сложных и болезненных манипуляций. Отделанные, рубиновые ноготки, как драгоценные камни, сверкали сквозь прозрачные туфельки из найлона, на высочайших каблуках. И все оне смеялись, болтали, перекликались друг с другом, некоторые по-китайски, другие на прекрасном английском языке, напоминая собой каких-то райских причудливых птичек в их разноцветном, сияющем опереньи. Музыка, цветы, разрывы хлопушек, гудки автомобилей и автобусов и бесконечное, безостановочное движение веселящейся толпы — таковы были наши первые впечатления от Гонконга.

Трудно было поверить, что эти женщины «де люкс», эти дорого стоющие, такие женственные женщины, которые, казалось, источали из себя ничем неприкрытый секс, умело подчеркнутый и усиленный всеми способами и ухищрениями восточного и западного кокетства, были сестрами по крови тем бесцветным существам, наполовину мужчинам, наполовину женщинам, одетым в однообразную, скучную форму, с прямыми волосами, убранными в две унылых косички, с желтыми, плоски-

ми лицами, незнакомыми ни с пудрой, ни с косметикой, которых в коммунистическом Китае мы встречали на каждом шагу — во всех учреждениях и офисах, на улице и в кинематографе, везде, куда бы мы ни пошли, и которые принесли свою женственность на алтарь беспощадного, бездушного идола — Государства.

НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В холле «Шамрок Отеля» нас встретила оживленная толпа, шумно и радостно приветствуя наш приезд: друзья, знакомые, просто харбинцы или соотечественники, которые прибыли сюда из других городов Китая раньше нас, собрались, чтобы ободрить и приласкать новых пришельцев.

«Бой» в безукоризненной, белоснежной форме — виденье давно забытого, далекого прошлого — посадил нас в лифт и указал нам наши комнаты на одном из верхних этажей огромного отеля.

Мы взяли хорошую ванну и прекрасно отдохнули, наслаждаясь ставшим уже непривычным комфортом, а в половине восьмого вечера заняли место за столиком по указанию метрдотеля, в ресторане, расположенном на самом верху десятиэтажного здания. И так начался круг наших гонконгских дней, которые теперь, издалека, кажутся такими яркими и праздничными.

В то время «Шамрок» был переполнен до последней комнаты своих многочисленных этажей. Обитатели его, «перелетные птицы», как и мы сами, задерживались в Гонконге одни на два-три дня, другие на несколько недель или месяцев в зависимости от разных обстоятельств: здоровья, перемены направления, невозможности сразу получить место на пароходе или аэроплане, истечения срока виз и т. п.

В обеденное время я исподтишка рассматривала окружавшие нас лица — иногда это были лица друзей,

или знакомых, но большей частью мы видели их в первый раз и никогда не встречали раньше, хотя многие из них были связаны с нами единством крови и веры и все шли той же дорогой, что и мы, неся на своих утомленных плечах то же бремя жизненных невзгод и тяжелых воспоминаний. Большинство уже перешагнуло черту, за которой остается молодость; многие приближались к полосе старости, или уже вступили в нее. Десятки лет назад они покинули свою родину, найдя себе новое пристанище на чужих берегах, и вот теперь, на склоне лет, они снова должны были сняться с насиженного места и вновь, порывая связи, которые создавались годами, и расставаясь с людьми, с которыми сжились и сроднились, двигаться куда-то вдаль, в неизвестное будущее. Из них самыми счастливыми были родители, ехавшие к своим детям, которые перебрались за море давным давно; некоторым предстояло поступить в приюты, созданные для таких как они в разных странах, третьи, как например мы, ни на кого не могли расчитывать, кроме самих себя, вступая в новую жизнь в далекой, неведомой стране, выразившей готовность оказать нам свое гостеприимство. Среди тех, кого я знала, почти каждый уносил в душе тайную боль, затаенное страдание, какое-нибудь тяжелое и горькое воспоминание. И все же — где жизнь, там и надежда! Все старались казаться бодрыми и с улыбкой встретить свою судьбу.

В ГОНКОНГЕ

Что до меня, я хотела насладиться насколько возможно теми двумя-тремя неделями, которые нам предстояло провести в Гонконге. Я решила забыть все свои горести и волнения, прошлые и грядущие. Я весело вливалась в уличную толпу, неторопливо прогуливалась по прекрасной, тенистой Нэтэн Род, под сенью ве-

личественных тропических деревьев, останавливалась у витрин, наслаждалась видами, звуками, красками волшебного города.

Какое это было удовольствие переезжать через сверкающую бухту из Коулуна в Гонконг на быстром, комфортабельном катере! Как увлекательно наблюдать за своими спутниками: индусами, облаченными в живописные национальные одежды; холодноватыми, сдержанными англичанами, которые резко выделялись в толпе; католическими священниками и миссионерами — их в Гонконге очень много, они пользуются там значительным влиянием и располагают огромными средствами; китайскими студентами, купцами, одетыми по-европейски, ничем не похожими на своих собратьев в коммунистическом Китае; элегантными европейскими женщинами... Отмечать все разнообразие лиц, костюмов, манер.

Наша жизнь в Харбине была последнее время такой монотонной, настолько лишенной красок и движения, что я буквально как какой-то обжора никак не могла насытиться и с жадностью поглощала все эти новые для меня впечатления причудливо-разнообразные, мелькавшие перед моим взором как в каком-то сказочном калейдоскопе.

Я наверное была очень смешна в своей провинциальной наивности. Про меня, как я теперь вспоминаю, можно было бы сказать, что я смотрела на все, не веря своим глазам, буквально раскрыв рот от изумления. Как-то вечером я чуть не ахнула, когда в роскошном магазине «Шамрока», расположенном в нижнем этаже, мимо меня прошла молодая индуска в европейском наряде, очень шикарная, и мой взгляд упал на огромные бриллианты на ее тонких пальцах и в ушах, которые как будто освещали матовую смуглость ее породистого лица. Она казалась высокомерной и безучастной к окружающему, а молодой индус, ее спутник, а может быть и телохранитель, выглядел как экзотический принц какой-то неведомой, далекой страны.

В другой раз мое любопытство было возбуждено

одной молодой особой, которая тоже жила в нашем отеле. Она отнюдь не была экзотичной, а наоборот — ультра модерной. На ней были короткие, тесно облегавшие ее фигуру «слэкс» с зиперами сзади; сандалии, надетые на голую ногу, оставляли открытыми пальцы с кровавокрасными ногтями; замшевый жакет какого-то невиданного фасона, был отделан бахромой в аршин длиной, а ее серебристо-белые волосы были забраны в «конский хвост», который мне пришлось видеть впервые. В нашем благонамеренном Харбине мы не привыкли к таким экстравагантностям: появись она там в таком виде, за ней, наверное, ходила бы толпа и все закончилось бы в участке. Оказалось, что невиданная дева была артисткой мьюзик-холла и каждый вечер выставляла свое длинное, гибкое тело на обозрение китайской толпы... После строгости и однообразия костюмов и сдержанных манер, воцарившихся в коммунистическом Китае, ее фигура показалась мне необычной и даже немного комичной. О, святая простота! Вспоминать теперь об этом прямо смешно — такого ли мы нагляделись в современных больших городах!

Меня страшно развеселило, когда один из моих добрых друзей, пожилой, уравновешенный человек, очень барственной и интересной наружности, сказал мне, сдерживая легкую улыбку умных губ, что ему несколько раз предлагали на улицах Гонконга маленьких китайских девочек и притом вовсе не дорого! За какие-нибудь два-три доллара: совсем дешевка! Повидимому, это являлось более или менее установленной таксой для не совсем законных развлечений такого рода.

Все это мне нравилось черезвычайно. Все развлекало, веселило, смешило... Как я радовалась поднесенным мне пунцовым розам, обернутым в прозрачный целофан; с каким наслаждением пила кофе в роскошном холле «Пенинсьюлар Отеля»; как любила кататься на машине по извилистым дорогам гонконгского острова, бегущим все выше, все выше, крутой спиралью, над остающимся где-то внизу морем, пока наконец вы не оставались наедине с небом и тишиной...

Но чем я была буквально околдована, так это видом ночного Гонконга, сияющего тысячами огней, отраженных и повторенных темной водой залива. Я могла часами простаивать около углового окна своей комнаты и забыв обо всем любоваться в каком-то зачарованном состоянии струящимся внизу сплошным сияющим потоком машин, не думая о времени, как-бы остановив мгновенье, взвешенное между прошлым и будущим.

Меня очаровывало благополучие, богатство, выставленное напоказ в бесчисленных магазинах Коулуна и Гонконга. Хрусталь, меха, шелка; сверкающие витрины с разложенными на бархате бриллиантовыми кольцами, браслетами, колье. Они стоили целые состояния: их охраняли индусы в белых тюрбанах, вооруженные винтовками. Они сидели у входа в магазины, неподвижные, бесстрастные, как какие-то восточные идолы.

Нужно сказать, что в те далекие годы, о которых я рассказываю на этих страницах, в Гонконге нашли себе приют тысячи представителей китайской буржуазии, бежавших от жестокостей коммунистического режима. Сотни китайских миллионеров сумели вывести свои капиталы, миллионы и миллионы американских долларов, так что в Гонконге наблюдалось тогда такое скопление богатства, которое было необычным даже для этого, насыщенного деньгами города. Часть вывезенных, спасенных капиталов была переброшена в Соединенные Штаты и другие страны западного мира; но несмотря на близость красной границы, до которой рукой подать и которая служит постоянным «мементо мори» для этих представителей старого Китая, сотни богатых китайцев задержались в Гонконге, вложили крупные средства в промышленность, в недвижимое имущество, финансировали грандиозные строительные проекты и вели жизнь грансеньеров. Невольно я спрашивала себя, думали ли они когда-нибудь о тех представителях своего класса, которые остались в красном Китае: в то время уже десятки тысяч гнили в тюрьмах или погибли как-нибудь иначе, многие скрывались, спа-

сая жизнь, и все потеряли свое имущество.

И как-то раз, когда я наблюдала на Нэтэн Род вечернюю жизнь города, я потеряла чувство реальности и как по волшебству передо мной встала картина нашего такого еще недавнего прошлого.

Скучный, зимний вечер. Я иду по тускло освещенной улице Харбина. Вдруг я замечаю, что прохожие останавливаются, смотрят, как-то странно замолкают... Вдоль мостовой медленно движется грузовик. Перед ним два полицейских мотоциклета с вооруженными людьми; позади — полицейский «джип». На грузовике, тесно, плечом к плечу, стоят люди, плохо одетые, жалкие; на руках у них кандалы, лица лишены всякого выражения, глаза полузакрыты и, кажется, смотрят куда-то в пустоту. Человек в защитной форме, поместившийся рядом с шофером, громко кричит через рупор, с теми особыми, страстными повышениями и понижениями голоса, которые свойственны китайской речи, когда китайцы спорят или убеждают. Он говорит, что все эти люди на грузовике объявлены врагами народа; что они в течение многих лет обманывали и обкрадывали государство, что они собрали кучу денег на страданиях бедняков; и вот теперь они сознались в своих многочисленных преступлениях и недостойны жить: им нет больше места в новом Китае, с его высокими идеалами нравственной чистоты и братства... И они должны умереть!

Они движутся вперед медленно, медленно... Народ смотрит и молчит. Не слышно замечаний, никто не выражает своих чувств, никто не верит соседу... Невольно я вздрагиваю, как будто дыхание отверстой могилы вдруг коснулось моих губ внезапно ставших напряженными и холодными как лед. Боже мой! Как это похоже, как это ужасающе похоже на нашу собственную русскую трагедию, которая длится и длится и которой не видно конца; как это похоже на судьбу бесчисленного числа наших братьев там, за далеким рубежом.

Громкий автомобильный гудок возвращает меня к действительности. У тротуара, совсем рядом, останавли-

вается черный лимузин. Стройная женщина в бархатном платье, в норковой столе, накинутой на узкие плечи, выходит из машины; за ней пожилой господин в европейском костюме, в больших темных очках, наполовину закрывающих его смуглое лицо. Они медленно идут вдоль ярко освещенной улицы. Они исполнены спокойной уверенности в своем благополучии, в своем будущем. А между тем, как призрачно это счастье, как все могло бы быть совершенно иначе, если бы не случай, судьба или предусмотрительный расчет не помогли им во время перейти роковую границу. Да, роковая черта! Одним шагом больше или меньше, и все потеряно, или выиграно. Буквально все!

МЫ ПОКИДАЕМ ГОНКОНГ

Накануне нашего отъезда из Гонконга мы пошли в нашу маленькую русскую церковь на Нэтэн Род — не знаю, есть ли она еще — чтобы по старому русскому обычаю помолиться о нашем счастливом и благополучном путешествии. Это была крохотная, бедная церковка, но мы ощущали ее как наш духовный дом и трудно забыть, как в этом чужом, экзотическом городе, с шумящей за воротами церкви международной, многоязычной толпой, под тенистыми пальмами чуждой нам природы, мы внимали словам наших православных молитв и песнопений, знакомых нашему слуху и дорогим нашему сердцу с детских лет. Как тронуло нас обращение пастыря, который напутствовал нас в прощальной проповеди. Он сказал:

— Здесь, в чужом городе, под звездами, иными нежели те, которые светят над беспредельностью нашей Страны, мы возносим Господу наши молитвы в тех же словах и совершаем те же обряды, как это делали наши предки много лет тому назад и как, быть может, в этот самый момент это делают наши братья на нашей много-

страдальной Родине. Огонь еще горит, нить не порвана, и в этом наша надежда и залог лучшего будущего. Так сохраним же мужество и веру и вознесем смиренные молитвы Господу Богу, чтобы Он помог нам создать счастливую и достойную жизнь в той христианской стране, которая оказывает вам свое гостеприимство, — будьте достойны его... И в то же время будем умолять Создателя, чтобы Он простер свое милосердие на тысячи, нет миллионы наших братьев, заушаемых и преследуемых, страдающих и томящихся в узилищах; чаша зла полна и переполнена, но никому из нас не дано поднять завесу будущего и проникнуть в тайну жизни и смерти: все в руке Божьей, все совершается по воле Спасителя и Бога нашего... Мы же можем лишь молиться, и верить, и надеяться... Да будет с вами мое пастырское благословение на всех путях вашей новой жизни. Аминь.

Все наши старые и новые друзья собрались в холле «Шамрок Отеля», чтобы проводить кучку путешественников, которые в то утро должны были вместе с нами отплыть в Австралию. Из Гонконга, где сходились многие дороги, наши жизненные пути далеко разводили нас по всему миру. Для многих этот день был днем последнего «прости». Было очень грустно. Я видела много улыбающихся губ и влажных глаз. Да... перелетные птицы! Сегодня здесь, а завтра уже улетели...

НА БОРТУ ПАРОХОДА

А потом было семнадцать дней полного покоя и тишины на пароходе, который вез нас в Австралию. Удобные каюты, прекрасная прислуга, хороший стол. Ранние утра, исполненные очарования, как-будто обещавшие что-то, когда пассажиры еще спят и вся необъятная даль моря и неба принадлежит вам одной безраздельно. Ленивые полудни на плетеных шезлонгах,

шум набегающих волн, погружающий в какой-то сладкий полусон; а после обеда, обставленного со всей изысканностью современного океанского лайнера — напоминающего роскошный пловучий отель — красота, покой, бездонность экваториальной ночи с постепенно меняющейся картиной звездного неба, с непередаваемым ощущением, что вот здесь, вокруг и около вас, дышит, вздымается, живет, как тысячи тысяч лет назад, огромная, первозданная, таинственная стихия.

СИДНЕЙ

Я почти не спала последнюю ночь на море. Я встала с зарей, стараясь различить в тумане занимающегося дня далекие очертания приближавшегося берега страны, которая должна была стать нашим домом.

Вскоре ко мне присоединились и остальные, многие с биноклями, все в состоянии сдержанного возбужденья, с чувством ожидания, смешанного со страхом и надеждой. Наша далекая цель, вот она, наконец, здесь перед нами. Мы медленно входим в бесконечную сиднейскую бухту и прекрасный город постепенно разворачивается перед нами, справа и слева, со своими золотыми пляжами, зелеными пятнами садов и парков, застывшими волнами красных крыш, сбегающих к морю с его живописных холмов, с отчетливо вычерченной на безоблачном небе элегантной аркой сиднейского моста.

Понадобилось по крайней мере две недели после нашего приезда в Сидней, чтобы дать нам реально, отчетливо осознать всю разницу между двумя мирами: оставленным позади и тем, в котором отныне нам предстояло устраивать свою жизнь. В первые дни я была в состоянии какой-то отуманенности, притуплявшей остроту новых впечатлений. Часто, просыпаясь ночью, я спрашивала себя: «Где я? Что происходит? Чья это комната и что я в ней делаю? Да правда ли все это?»

Но вот однажды я встала с постели с новым для меня ощущением легкости, с каким-то изнутри идущим чувством безопасности и свободы. Я подошла к окну и отодвинула занавес. Передо мной была широкая, тихая улица, освещенная невысоким еще, неярким солнцем. В саду напротив пышно и неподвижно стояли деревья, покрытые яркой, осенней листвой. Неведомая птица прокричала два раза, как будто приветствуя утро, и смолкла. Это было все и, в сущности, так мало. Но я начала этот день другим человеком, полная бодрости и веры в будущее... Пора, пора было нам сложить свои усталые крылья!

«Крылом своим меня оденъ,
Волненья сердца утиши,
И будет благодатна сень
Для очарованной души.»

ЛИРИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК

СТИХИ

Весною воздух голубеет тайной,
А тени облаков так быстры и легки...
Да, в этот мир мы все пришли случайно,
И все, равно, от счастья далеки.

Синеет вечер... Острая прохлада
Струится с высоты, как вешняя вода,
А на ветвях застынувшего сада
Повисла низко влажная звезда.

Сегодня в Городском саду
Так ясен был осенний день,
И на игрушечном пруду
Неярок свет, прозрачна тень.

Да, кроме этой тишины
Другой для сердца правды нет,
А остальное — ложь или сны
И суета земных сует!

Вот так лежать у моря в летний зной,
Блаженно растворясь в живительном озоне,
И не грустить, и быть совсем одной,
И погружать в песок горячие ладони.

Ведь счастья нет, и горя тоже нет,
И бедной жизни нашей теплое дыханье
На зеркале времен лишь легкий след,
Рожденный случаем, без цели и названья.

Да, этих слов старо очарованье,
И знаю я, что может быть оно
В счастливый миг короткого свиданья
Тобою мне случайно отдано,

Но все-ж твержу единственное имя,
И в этот час, одна в своей глуши,
Люблю тебя за созданную ими
Чудесную взволнованность души!

О подожди, постой, расстаться нету силы,
Мы чуть не плачем, словно дети.
Дай руку мне твою, о как мне трудно, милый,
Как горестны мгновенья эти.

Вот так душа моя пред дальнею дорогой,
Навеки покидая тело,
С тоской задержится у легкого порога
Земного, милого предела.

День прошел. Догорает закат
Неуверенным, слабым румянцем,
Городской, неживой... И сквозят
Облака нездоровым багрянцем.

Я одна, я тоскую... о чем?
Как слаба я, без воли, без силы...
О пронзи меня, Боже, мечом,
Закаленным в нездешнем горниле.

Я эти письма сберегу,
Ведь это все, что сохраню я
О том, кто, мучась и тоскуя,
Живет на чуждом берегу.

Да, эта мука не нова,
И много есть других, наверно,
Кто безнадежно, суеверно,
Твердит в недобрый час вечерний
Страниц желтеющих слова.

В вечерних сумерках, когда закат погас,
Я долго шла одна пустынною дорогой.
Безмерный вид полей, как будто в первый раз,
Мне душу поразил своей печалью строгой.

Как странно обнажен, как скуден их простор,
Как, распростершись ниц, земля нага и сира...
Не в них ли в этот час, как жалобный укор,
Вселяется душа тоскующего мира?

В лицо нам ветер бьет, тревожный и порывный,
Рожденный югом нынче на заре.
Мне внятен глас его, манящий и призывный,
Будящий май в железном ноябре.

Какая острота! На грани увяданья,
В предверьи дней томления и мук,
Вдруг уловить весны нежнейшее дыханье,
Начала и концы в один замкнувши круг!

Был вечер дик, был вечер глух,
И ветер бил, как плетка хлесткий,
Когда как некий добрый дух
Ты вдруг возник на перекрестке.

И я забыла этих дней
Тревогу тяжкую и муку
И сжала в трепетной, в своей,
Твою спасающую руку.

Но ты не знал, что в этот час,
Мечту с действительностью сливший,
Одна тоска томила нас
О невозможном и небывшем.

Жизнь мнится мне неверной и случайной,
От тени тенью, отраженьем снов,
Пустой мечтой, игрой необычайной,
Насмешкою неведомых богов.

Все-ж смутно жду минуты откровенья.
О дай ответ, единственный, простой,
Дозволь постигнуть тайное значенье
И тайный смысл судьбы моей земной.

Но дни идут и тяготит молчанье...
Все строже взгляд, печальнее лицо.
Ненужное, мучительное знанье,
Бессильное разъять зловещее кольцо!

Я сегодня больна, я тоскую.
Расскажите-ж мне, милый друг,
Сказку тихую и простую
Про веселый, весенний луг,

Про пушистую пчелку Майю
И влюбленный в нее цветок,
И как им помогал, играя,
Легковейный шалун-ветерок.

Про лесных человечков зеленых
Вы потом расскажите мне,
Как они под развесистым кленом
Хоровод ведут при луне,

И еще расскажите мне, милый,
Сказку лучшую юных лет,
Как вы кого-то любили
И любимы были в ответ...

Вдыхаю кофе аромат,
Дым сигареты млеет, тая...
Скажи, ты этой встрече рад
В кафе вечернего Шанхая?

Ты вырос, стал совсем большой,
Но невеселый и усталый.
Тебе, наверно, милый мой,
Немного... счастья не хватало?

А *я*, а мне? Оставь, постой,
Что можно рассказать словами?
Ты помнишь девочку с косой
И плутоватыми глазами?

Тоскую смутно, как во сне,
Года бегут назад, свиваясь...
А ты целуешь руки мне,
Как будто душу отдавая.

Я помню лишь огни ракет,
И ночи мрак, тоской объятый,
И шопот губ, и словно «нет!»
И в вышине чертящий след
Звезды от звезд полет крылатый.

Ах, только шаг, один лишь шаг,
Чтоб слиться с морем мне и ночью
И выпить жадно звездный мрак.
Но нет, как побежденный враг,
Закрыв лицо, бежала прочь я.

Тяжел и темен был прибой,
Волна, как зверь, лизала скалы,
Зияла бездна подо мной,
И в сердце страшный зев пустой
Иная бездна разверзала.

Дыханье жгучее обманных снов пустыни,
Но путник сладостной надеждою влеком:
Спасение дает от века и доныне
Из камня сложенный, прохладный водоем.

Для всех прозрачных струй доступна благостыня,
Создавший спит давно в песках глубоким сном,
Но дело рук его, живой любви святыня,
Горит сквозь мрак веков немеркнущим огнем.

Сверкающей игрой волшебного обмана
В скитаниях земных встает фата-моргана,
Но лишь безумные ее приемлют власть:

Неисчерпаемо, таинственно-глубоко,
Колодезь мудрости, учение Пророка,
И смертным всем дано к воде его припасть.

Сад в цвете яблонь, в белой пене,
И дверь раскрыта на балкон.
«Сойди», зовут меня ступени,
Сад в цвете яблонь, в белой пене,
Дурман таинственный сирени
И первый царственный пион.
Сад в цвете яблонь, в белой пене,
И дверь раскрыта на балкон.

О, чаша солнечной эмали,
Ты до краев полна хмельным.
Судьбой начертаны скрижали...
О, чаша солнечной эмали,
Я разобью тебя сама-ли,
Прильну-ль к тебе, отдам другим?
О, чаша солнечной эмали,
Ты до краев полна хмельным!

Смотреть на буйный сад весенний
И медлить, медлить, не сходить...
Боится сердце совершений;
Смотреть на буйный сад весенний,
Пить гамму красок, ощущений,
Свивать в одно двойную нить...
Смотреть на буйный сад весенний,
И медлить, медлить, не сходить...

Одиночество... Я не знаю страшнее слова.
Подумайте, вы зовете — ответа нет...
Вы кричите, умоляете, зовете снова,
И снова ответа нет.

Или вы приходите домой, у вас озябли ноги,
И никто не согреет их вам в ласковых руках,,
И никто не шепнет ваше имя, чуть слышно,
когда вы в тревоге,
Ночью, во мраке, и ваше сердце сжимает страх.

Вы только представьте себе: из вашего бокала
Ничьи дорогие губы не пригубят ваше вино,
А ведь этого довольно, хотя как будто так мало,
Чтобы знать, что вы и кто-то еще — одно!

Непокорный, порывистый ветер распахнул
голубые ворота
В золотые просторы земли. Облака, как небывшие сны,
Так легки, так чудесно прозрачны, так полны
обещанья чего-то,
Уводя за собою мечту по веселым дорогам весны.

Там, за дальней чертой заповедной, дышут
жарко и томно закаты,
Изгибает серебряный лук юный месяц
в небесных полях,
И вдруг вспомнится все, что так щедро судьба
подарила когда-то,
И что мы не сумели сберечь на земных,
каменистых путях.

Знаю, чувствую... Скоро настанет неизбежное
время разлуки.
Пусть на тлеющих углях поет, закипая тихонько, вода,
Пусть хлеб и вино, как обычно, приготовили милые руки,
Они слишком бессильны, слабы, чтоб с собой
удержать навсегда.

Слышишь голос, звучащий призывно? Помнишь песню?
Она недопета...
Помнишь, в вихре стремительных лет промелькнувшие,
легкие сны?
Мы уйдем... Мы уходим надолго в заповедное
царство поэта,
В голубые весенние рощи, в голубое безумье весны!

На все тона, на все лады и звоны,
Поет, кипит, бежит со всех сторон вода.
Порожки, родники, нежданные уклоны,
Стремление и бег... скорей, вперед, всегда!

И холод и хрусталь прозрачных струй нагорных,
Покорность длинных трав, томящихся на дне,
И трепет мотыльков, их рой иссиня-черный,
И сопок хризолит в лазури и огне.

А на заре опал и призрачность тумана,
И острый холодок лугов, в обильи рос,
И влажность на лице, когда, поднявшись рано,
Спешишь с хозяином на дальний сенокос.

И древнее ярмо волов, арбы влекущих,
С медвяно пахнущей, цветочною травой,
И вздохов глубина, прозрачный воздух пьющих,
Купанье, быстрый Ял, и холод огневой...

И розоватый крап на серебре форели,
И сладкий сон без грез под сенью дубняка.
Прогулки... Все-б идти, идти без дум, без цели,
Куда спешит, зовет волшебная река,

Туда, где кажутся еще свежей долины,
Где пики темных скал, куда стремится Ял,
Где профиль царственный, где бюст Екатерины,
Художник неземной над бездной изваял.

СОНЕТ ВЕСНЫ

(Перевод)

Поль Арен.

Был март... Она пришла в весеннем, легком свете,
И вдруг проснулся сад от ласки молодой.
Дитя наивное, жестокое, как дети —
Я не любил ее и сам ей был чужой.

На ветках плавились серебряные сети,
А ниже снег лежал холодной пеленой,
Зима таилась там, гоня мечту о лете,
Держа в плену своем сиреней душный зной.

Блеснул веселый луч... «Да, это я», сказала,
Как будто ласточка вдали прощебетала,
Мои шестнадцать лет ко мне вернулись вновь.

Я часто думаю о той минуте зыбкой,
О бликах солнечных, о девичьей улыбке.
Была почти весна, была почти любовь.

ОТРЫВОК ИЗ «СТРАНСТВИЙ» БОДЛЭРА

Перевод.

Для ребенка, влюбленного в глобусы, в карты,
в эстампы,
Вся вселенная словно для игр и забав
предназначенный зал.
О как мир безграничен при свете задумчивом лампы,
В свете памяти холодно-верной как беден он,
скучен и мал!

Но настала минута — мы едем! Рассудок в смятеньи.
В сердце едкая горечь обид и желаний
бескрылых полынь.
Нас зовет голубая волна в своем вечном движеньи,
Нас манит раствориться в себе безграничная
водная синь.

И родные края, где изведал измену и горе,
Покидает один навсегда: он уже не вернется назад...
А другой, звездочет, потонувший в пленительном взоре,
Жаждет чары Цирцеи забыть и опасный ее аромат.

Чтобы душу сберечь они ищут борьбы и тревоги,
Их пленяют пожары небес, и просторы, и вечные льды,
И мороза укусы, и палящего солнца ожоги,
Не спеша, незаметно, иных поцелуев стирают следы.

Но лишь тот по призванию странник, кто едет куда-то
Для того, чтобы ехать и только! Чье сердце звенит
и поет,
Кто судьбы не боится, чья мысль словно птица крылата,
Кто всегда и везде говорит неизменное слово — вперед!

Это тот, чьи желания можно сравнить с облаками,
Кто мечтает, как юный солдат о поэзии ружей и пик,
О неведомых радостях, ярких и жгучих, как пламя,
Их названья не знает еще человеческий бедный язык!

ПОЕЗДКА В СОВЕТСКИИ СОЮЗ

Глазами эмигрантки

Воспоминания о недавнем посещении нами Советского Союза являются естественным продолжением моих воспоминаний о Харбине. Вынесенные из этой поездки впечатления только проверили и подтвердили то внутреннее отталкивание от всего «советского», которое заставило нас и наших единомышленников с такой отчаянной решимостью, буквально из последних сил, отстаивать свое право на жизнь в свободном мире перед лицом нависшей над нами угрозы насильственной репатриации.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Писать об этой поездке тяжело и очень грустно. Грустно прежде всего потому, что в огромной стране, родине многих поколений моих предков, послуживших ей на различных поприщах — административном, военном, гражданском, — не нашлось ни одной родной души, с которой я хотела или могла бы встретиться. Тяжело потому, что, обреченная на жизнь в чуждом для меня мире, я и в Советском Союзе не могла почувствовать себя дома. Но это вовсе не потому, что я — по своему рождению, воспитанию, образу мыслей — принадлежу к классу, которому более шестидесяти лет назад был вынесен смертный приговор и что, если случайно мы и не были физически уничтожены, то оказались лишенными той родственной, социальной и культурной опоры, которая является самым ценным достоянием каждого нового поколения и передается и дальше, последующим поколениям, создавая драгоценный, «золотой» фонд народа. Мне трудно писать обо всем увиденном в Советском Союзе даже и не потому, что жизнь моих сверстников, моей семьи и бесконечного числа пришедших нам на смену детей нашей общей родины была искалечена и изломана; не потому, что нам — и в буквальном, и в переносном смысле слова — переломили хребет и что в Советском Союзе по сей день продолжается необычайное в мировой истории явление перманентной революции, в ходе которой он изуверски, и даже с каким-то зловещим вызовом, теми или иными способами освобождается от людей, которые составили бы славу и гордость любой другой страны... Нет, горечь моих мыслей и моих суждений и труд-

ность поставленной мною себе задачи объясняется главным образом тем, что переступив границу, которая была мне заказана в течение многих десятилетий, я не нашла за этой границей ничего, что позволило бы мне совершенно объективно и беспристрастно признать, что пусть не для нас, так для наших детей, там создан новый, лучший мир и что величайшие жертвы, принесенные во имя этого нового мира, хоть в какой-то мере могут быть, если не оправданы, то поняты; что мне почти невозможно избежать обвинения в предубежденности и предвзятости, а между тем ничего другого, кроме того, что я написала, я написать не могла, как бы мне этого ни хотелось.

Считаю также нужным оговориться, что я ощущаю себя русской; что я воспитана в русских культурных традициях. Но я не идеализирую прошлого, ибо знаю, что на земле идеал недостижим; что с этой нормой нельзя подходить ни к тому, что было, ни к тому, что есть или будет. Однако, ощущая свою глубокую «русскость», я все же не испытывала сентиментального умиления, ступив на родную землю; я не почувствовала в себе того душевного движения, которое побудило бы меня земным поклоном приветствовать страну, где я родилась. Эта область моего внутреннего мира складывается в каком-то другом плане и всякая душевная размягченность начисто выжжена из нее пережитым и передуманным за долгие годы эмиграции...

НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Прежде всего: о том, что население Советского Союза недоедает, как мне кажется, теперь не может быть и речи. Достаточно взглянуть на полные, румяные лица украинских женщин — (которые, кстати, не хотят больше называться «хохлушками», а предпочитают быть

«украинками») — на их рубенсовские формы, чтобы понять, что в Киеве во всяком случае едят сытно. Разносолов нет, гастрономического баловства незаметно, но это уже другое. Рассказы, что туристам чуть ли не часами приходится ждать подачи — принадлежат тоже к области прошлого, равно как и всевозможные анекдоты относительно до смешного старомодных гостиниц, об отсутствии в них элементарных удобств, и тому подобное. Туристов кормят обильно, хотя и не по современному тяжело. Правда, советская кухня не отличается изысканностью: это скорее всего простой домашний стол среднего качества. Возможно, однако, что туристам из числа не слишком избалованных такая еда как раз и нравится, ибо отличается от привычной: в Киеве и Харькове — борщи, пирожки, вареники со сметаной, котлеты по-киевски, битки... В Москве, в Ленинграде разнообразия меньше. Свежих овощей, салатов не было. Фрукты после обеда давали только в Ленинграде, и только апельсины, счетом, по одному на человека. Так как купить их в городе было негде, то туристы, не стесняясь, забирали несъеденное за столом к себе в номер, «на после». Вероятно, по Госплану, откуда-то из братской страны была получена партия апельсин и передана — для престижа — в туристские отели. На сладкое было почти исключительно мороженое и пирожные ниже среднего качества: в каждом городе своего сорта, но в каждом всегда одни и те же. Никакого выбора не предоставлялось; пили и ели, что давали.

Овощей в свободной продаже, видимо, нет: их можно было, как говорили, получить только у частников. В Киеве и Харькове приходилось там и тут видеть небольшие очереди; оказывается, за огурцами. Раз или два заметили продажу «с рук» какой-то довольно неаппетитной рыбы. Цветов почти не видели. В Киеве, в «сабвее» на Крещатике можно было встретить «несчастную торговку частную» со скромными букетиками, но о том, чтобы столы в ресторанах украшались цветами, не было и речи.

Для нашей группы — около сорока человек — сто-

лы накрывались отдельно, всегда несколько в стороне от общего зала. Чередование блюд и подача казались иногда несколько странными. Так, в Киеве, после того, как за утренним завтраком все уже напились кофе с хлебом, маслом и вареньем, вдруг перед каждым прибором появилась тарелка со «стрекотуньей» — (яичницей-глазуньей). В Ленинграде кофейники для послеобеденного кофе подавались на стол заранее. Призывы «подогреть» ни к чему не приводили. Один раз мы были оставлены без дессерта; по чьей-то оплошности он, видимо, не был включен в сданный на кухню наряд — плановое хозяйство! Посидели, подождали, и ушли ни с чем... Приехав в Харьков с некоторым опозданием, около десяти часов вечера — мы в своем прекрасно оборудованном отеле «Интурист» с величайшим трудом добились по чашке холодного чая: не было предусмотрено. Туристы вели себя в высшей степени корректно: ничему не удивлялись, все, что давали, пили и ели в любом порядке и вообще обменом впечатлений не занимались, что и правильно!

Не обходилось и без курьезов. В Киеве в нашем отеле «Днипро» — (на площади Ленинского Комсомола) — к утреннему завтраку подали чашечки, обычно предназначенные для черного послеобеденного кофе. Попросили чашки побольше. Тогда, к обеду, перед нашими приборами оказались объемистые белые кружки с ручками и притом, как выяснилось, почему-то японского производства. Постепенно все, однако, наладилось. Замечу кстати: если советские власти захотят и дальше развивать туризм в большом масштабе, как бы не пришлось им, по примеру Петра Великого, посылать своих граждан заграницу для обучения кулинарному искусству и искусству сервировки стола!

Обширный ресторан «Днипро» находился всецело в женских руках. Женщины, как на подбор, рослые, румяные. Ведут себя сдержанно, по-деловому, но довольно расторопны. Стоило, однако, заговорить по-русски, сразу как-будто перекидывался между нами какой-то

невидимый мостик: «Как вы хорошо говорите!» Смеемся. — «Да, неплохо... Пожалуй, не хуже вашего?» — «Неужто русские, откуда?»

За все время нашего двухнедельного пребывания в Союзе какого-либо недоброжелательства к нам, как к эмигрантам, мы не заметили. Скорее чувство приязни, интереса, сочувствия... «Ну как же вам там живется?» —« Да что-ж, живется неплохо. А вы, вы довольны?» — «Сыты, значит и довольны», — весело ответила нам на этот вопрос миловидная украинка, которая особенно приветливо хлопотала всегда около нашего стола. А, разговорившись, от нее же услыхали: «А когда под немцами были, вот уж хлебнули горя. Еще хорошо, что Господь — (заметьте: «Господь») — такую холодную зиму послал, что немцы во что одеться не знали. Чего-чего только на себя не намотают — а всё мороз донимает. Наши мужики в валенках, в полушубках, и то до того доходили, что соломой ноги закручивали...»

Теплая нотка чисто русского гостеприимства слышалась в ее манере угощать нас: «А вот винца нашего местного попробуйте... Пирожка отведайте...»

По словам той же милой «хохлушки» мужчины в Киеве считали ниже своего достоинства служить официантами. На весь большой ресторан их было всего несколько человек, да и те, правда, какие-то нерасторопные. Один раз подали черный хлеб — (кстати, очень вкусный, давно не-еденный). Подали одним куском, ненарезанным. Я подозвала одного из этих «деклассированных» юношей: «Будьте добры нарезать.» Его ответ вызвал у меня невольную улыбку: «Прошу прощенья. Произошло недоразумение. Сейчас будет исправлено.» Как автомат. Неужели их так «натаскивают», что они даже потеряли способность разговаривать естественно и просто? Рестораном заведывала очень приятная женщина, одетая довольно нарядно; официантки были в синих форменных халатиках.

ЕЩЕ ОБ ОТЕЛЯХ

За последние годы в Советском Союзе понастроили отелей, ничем не уступающих заграничным. При всех номерах индивидуальные ванные комнаты, или в крайнем случае, как в «Днипро» в Киеве — души за занавесками из пластмассы. Мыло, ежедневная смена полотенец, горячая и холодная вода. Правда, в Киеве нужно было подождать минут десять, чтобы получить достаточно нагретую воду. Зато в Ленинграде из кранов шел буквально клокочущий кипяток и в ванной комнате была такая жара, что мы выходили из нее распаренные, как из бани. В Москве, в отеле «Интурист», что-то не додумали с вентиляцией. В день нашего приезда было очень жарко и когда мы вошли в отведенный нам номер, показалось душно и первым движением было распахнуть окно. Не тут-то было! Модные, сплошные стекла заделаны наглухо; воздух поступает в комнату только через чуть-чуть приоткрывающуюся длинную, узкую — не знаю, как назвать — форточку наверху. По словам коридорных, в холлах и коридорах было то же самое. Летом стоит такая духота, что нечем дышать и служащие буквально обливаются потом. Но это мелочи, которые, вероятно, теперь уже «исправлены»...

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

Но где же то «новое», чего не найдешь у нас на Западе? Невольно возникает, сам собой напрашивается вопрос: неужели мы в стране победившего социализма? Неужели все усилия, все неслыханные жертвы были принесены только для того, чтобы во всем подражать капиталистическому миру? Чем же новым — хотя бы на поверхностный взгляд туриста — отличается этот «новый» мир? Что это за огромные отели с сотнями

комфортабельных номеров, с телевизорами, с коридорами, затянутыми коврами, в которых мягко утопает усталая нога? Что это за особы, которые денно и нощно дежурят на всех этажах за своими столиками, освещенными лампами под модными абажурами, — особы, к которым как-то даже неудобно применить грубое слово «коридорные»? Оне услужливы, предупредительны, любезны. Для кого эти обширные холлы с мягкими креслами обтекаемых форм, с фонтанами, осененными пальмами, с швейцарами у тяжелых, автоматически распахивающихся перед вами зеркальных дверей, взятых в никкелевую оправу? Куда мы попали? Все это как две капли воды похоже на любой туристский центр старой Европы, которую так хулят, поносят и якобы презирают советские люди. Что нового, своеобразного, своего предлагают советские хозяева своим любопытным и жадным до новых впечатлений гостям из капиталистического мира? Выбивает привычные ритмы советский джазбанд. Усиленный микрофоном небогатый голос повторяет на нескольких нотах, под аккомпанимент ресторанного ансамбля, все те же слова, в которые никто даже и не пытается вложить какой-то смысл — настолько они обезличены и истасканы на всех эстрадах мира... Бесконечный поток туристов. Костюмы самые экстравагантные, от самых простых до ультра модных. В холлах — груды заграничных чемоданов; беспрерывное движение приезжающих и уезжающих; у касс обмена валюты длинные очереди счастливых обладателей фунтов стерлингов, долларов, франков. Процедура обмена длительная и кропотливая: девушки, видимо, смертельно боятся ошибиться — считают, пересчитывают, сверяют... Ведь речь идет о твердой валюте, а в этом, повидимому, и все дело! Твердая валюта! Не ради ли нее советские власти так широко открыли за последние годы двери своей страны для этих социально-чуждых им элементов и всячески стараются им «потрафить» и учесть их вкусы и привычки, вплоть до специального бара в ленинградской гостинице («Ленинград»), где можно получить только шампанское и кок-

тейли? Впрочем, о духовной пище заботы меньше: ни в одном из четырех городов, где мы побывали, мы ни разу не видели ни одного номера заграничной периодической печати. Не попалась даже «Юманите». Только один раз, помнится, в Киеве, удалось заполучить экземпляр «Морнинг Стар», органа коммунистической партии Великобритании.

Ведь это в первую очередь вовсе не для гостей из «братских» республик, а явно для западных «буржуев» понастроены небоскребы модерных отелей, налажены авиа-рейсы, сложная сеть автобусных, пароходных и воздушных маршрутов, и налажены, нужно сказать, прекрасно; подготовлены кадры приятных и знающих свое дело переводчиков! Хотя, возможно, что валюта валютой, но все это одновременно представляет собой также грандиозный план пропаганды? Что советское правительство наивно уверено, что поразит иностранцев своими достижениями? Что оно избрало туризм, как одно из средств наладить контакты со своими бывшими, (бывшими-ли?), врагами? Почему советские руководители перестали бояться империалистической заразы? Или они уверены, что эта зараза уже не опасна? Что достижения коммунизма так несомненны, так очевидны, что стоит только увидеть все собственными глазами, чтобы навсегда отречься от капиталистических и империалистических бредней и ересей?

ЕЩЕ О ПРОГРЕССЕ

Когда мы готовились к поездке, друзья побывавшие в Союзе раньше нас, предупреждали: все как можно скромнее. Не следует обращать на себя внимание своим буржуазным видом. То, что, по их словам, обычно для среднего европейца или американца, кажется роскошью в глазах советских людей. Это вызывает зависть и даже недоброжелательство. Но и в этом отношении

тоже прогресс несомненен. Советская толпа одета прилично. Правда, в Киеве, несмотря на холодную погоду, все женщины — за исключением официанток и служащих в отеле — ходили без чулок, без корсетов и явно без некоторых других принадлежностей дамского туалета. Вообще же туристов так много — и уже не первый год — что к ним привыкли. Самые смелые, и даже забавные и нелепые туалеты проходят — на первый взгляд, может быть — незамеченными. В каком наряде ни появись, никто и не обернется. В Киеве советских женщин от туристок отличали, в частности, пышные формы и умеренность, или даже отсутствие, макильяжа. В Москве и Ленинграде женщины, хотя и были одеты скромнее туристок, в общем выглядели вполне прилично и нередко даже кокетливо. Как ни странно, по мере того, как мы продвигались в северном направлении, погода становилась все теплее. В Киеве и Харькове было не по сезону холодно, но совсем другая, уже почти летняя погода встретила нас в обеих столицах: исчезли универсальные макинтоши, запестрели яркие, летние платья, появились сандалии, модные летние туфли... Советские молодые женщины тоже носят «слэкс» и многие выглядят вполне по-современному, но опять-таки с нашей, европейской точки зрения. Никакой собственной моды в Советском Союзе пока что не изобрели. Порадовало отсутствие «хиппиз»: мужчины похожи на мужчин, женщины — на женщин!

ДА, НО...

Да, все, видимо, сыты и одеты. Но для великой державы, богатейшей, победоносно, более тридцати пяти лет назад окончившей войну, должно быть даже както неловко считать ЭТО подлинным достижением, както гордиться ЭТИМ. Туристы, а многие из них очень наивны и не знают, или не хотят знать, какова была

старорежимная Россия — могут подумать, что советская власть пришла на голое место, в совершенно нищую, первобытную страну, где все было в диковинку и где самые элементарные жизненные блага были совершенно недоступны населению.

«ЗАПАДНИ» ДЛЯ ТУРИСТОВ

Тут к месту будет упомянуть, что и мы сами, и все члены нашей группы могли ходить повсюду совершенно свободно и пропадать хоть на целый день. Разрешалось беспрепятственно пользоваться фотоаппаратами. Никаких ловушек нам не устраивали. На границе — при въезде и выезде, таможенные формальности были самые элементарные и ничуть не обременительные... За две недели нашего пребывания в Союзе только один раз в Киеве миловидная украинка, убиравшая наш номер, улучила минутку шепнуть мне: «Не продадите ли мне пару тапочек?» (Она имела ввиду ночные туфли). — «Или вот еще кружечку хотелось бы: такая миленькая...» Увы, мы взяли с собой только строго необходимое и единственное, что я могла ей дать — не продать, конечно, — была одна из принадлежностей женского обихода. Она вспыхнула от радости, быстро спрятала полученное в карман и даже поцеловала меня. Мы и сами уже убедились в том, что по разнообразию обычных для нас товаров и их доступности для рядовых обывателей, между Советским Союзом и Западом не может быть никакого сравнения. Но просьбы «продать» что-либо теперь, видимо, слышатся все реже. Второй случай, о котором я упомяну, не придавая ему особого значения, был в Ленинграде. Какой-то паренек, пробегая мимо нас, бормотнул мимоходом: «Жвачка есть?» — на этом и закончилось.

В отеле «Днипро» в Киеве, вечером, в день нашего приезда, я попросила одного из служащих, чтобы

поскорее добраться до своего номера, поднять наши чемоданы на пятый этаж, так сказать, в индивидуальном порядке. Чаевых, как правило, в Союзе не полагается, но... И я обещала уплатить ему за услугу завтра, когда обменяю свои фунты на советские рубли. «А не дадите ли мне лучше на память фунтовую бумажку?» Я, конечно, отказалась, ибо, как это хорошо известно, в Союзе платить иностранными деньгами можно только в особых магазинах — это «Каштан» в Киеве и многочисленные «Березки» в Москве и Ленинграде. Тоже один единственный раз в Ленинграде одной из наших спутниц, англичанке, некто, видимо орудующий на «черном рынке», предложил продать ему английские фунты по курсу, значительно выше официального. Она, конечно, отказалась.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Эта часть туристской промышленности в Советском Союзе налажена прекрасно. Мы пять раз подымались на борт советских самолетов и пять раз спускались и неизменно отлетали и прилетали с самыми небольшими отклонениями от расписания. Совершали многочисленные экскурсии, заранее обусловленные и оплаченные. Но нигде нам не приходилось ждать транспорта; нигде не произошло никакой путаницы с маршрутами, хорошо налаженная сложная система туристского передвижения работала бесперебойно. Нас возили в удобных автобусах, по прекрасным автострадам. Особенно живописной показалась нам бесконечная лента шоссе из Киевского аэропорта Жуляны в город, обрамленная живой стеной густых деревьев. Не менее хороша дорога в подмосковное Архангельское: поездка эта была истинным наслаждением. Мелькали мимо трепещущие, сквозные лески и перелески; кивала нам вслед неско-

шенная трава с укрытыми в ней непритязательными лютиками и скромной полевой кашкой; стояли, как солдатики, стройные одуванчики в своем прозрачном, почти невесомом опереньи. Впрочем тут уже начинается область лирики, от которой, я, кажется, начисто отреклась. Но весь этот пейзаж был такой «русский»; ведь тут никак не скажешь «советский», неправда-ли?

По дороге в Архангельское обращало на себя внимание и другое. Через некоторое время по обе стороны шоссе потянулись более чем скромные домики, с пристроенными тамбурчиками, верандочками, многие давно некрашенные и не ремонтированные, примостившиеся в небольших довольно запущенного вида садиках. Вот женщина берет воду из наружной помпы: явно, водопровода здесь нет. Но возможно, что в этих невзрачных домиках живется не так уж плохо: насколько они уютней, милее новомодных жилищных массивов.

ДОСТИЖЕНИЯ

Но ведь туристы-иностранцы приезжают в страну победившего пролетариата не для кашки и лютиков. Они хотят своими глазами видеть достижения советского режима. Что же показывают им в первую очередь?

Прежде всего, конечно, сами города с упором на восстановление причиненных им войной ужасающих разрушений: это главным образом относится к Киеву и Ленинграду. За это, конечно, честь и хвала советскому народу: велико его терпение и велики заложенные в нем творческие силы, лишь бы позволили им развиваться свободно и без помех! Пострадавшие от войны города Союза не только восстановлены: они разраслись, обстроились. Прилагаются все силы, чтобы не отстать от стремительного прогресса современности. Но чему же тут удивляться? Ведь страна живет, а все живое, если не идет назад и не умирает, то просто в силу жиз-

ненной инерции развивается и растет. Посмотрим, что же достигнуто в СССР за продолжающееся более шестидесяти лет господство советского режима?

КИЕВ

Начнем с Киева. В Киеве туристов в первую очередь везут на Выставку Передового опыта в Народном Хозяйстве УССР. Нельзя отрицать: проект задуман широко и с размахом. На огромном, отведенном под Выставку участке, среди широких, испещренных солнечными бликами аллей, разбросано множество нарядных павильонов, предназначенных для всевозможных экспонатов, иллюстрирующих технические достижения народного хозяйства Украинской Республики. Часть зданий была уже занята, часть еще пустовала. Серебряной пылью дробились струи фонтана. Пестрели цветочные клумбы. Откуда-то доносилась музыка. Все было так празднично, так нарядно! Осмотреть всего, конечно, невозможно. Нам показали модели типовых трех и четырех-комнатных квартир, вполне благоустроенных и современных. По словам нашего гида, в таких квартирах живет теперь уже более восьмидесяти процентов киевлян. Но так ли это? Правда, мы проезжали мимо внушительных новостроек жилищных массивов — («Русаново», «Отрадное») — но все же основная часть Киева — это старые кварталы с их старомодными домами на тихих, затененных деревьями, улицах, характерных для старых русских провинциальных городов. Как всегда в таких случаях, на цифры не скупились: увеличение на столько-то миллионов квадратных метров жилой площади, на столько-то процентов производительности фабрик и заводов; а в абсолютных цифрах так и мелькали семи и восьми-значные числа. Нам показали также комплекты модной мебели, якобы доступной теперь каждому обывателю. Что-ж, этому можно

только порадоваться. Но даже если эти прекрасные проекты не остаются на бумаге и действительно претворены в жизнь — что же тут, в сущности, удивительного? Можно подумать, что речь идет о какой-то полудикой развивающейся стране, где современные условия жизни все еще в диковинку. Не забудем: в СССР уже более 60-ти лет хозяйничает Советская власть, и не только один Союз, и не только один Киев стали жертвами военных потрясений. Не забудем, что даже в сравнительно бедных странах западного мира все эти достижения уже давно не вызывают никакого восторга и считаются чем-то обычным и само собой разумеющимся.

Пожалели, что за неимением времени не удалось увидеть моделей Киевского Дворца Спорта — (на Рогнединской улице) — эффектного здания из бетона, стекла и аллюминия, и гордость Киева — Борисопольского Аэропорта, который считается одним из самых больших в мире.

Да, мы видели в Киеве обширный стадион и бассейн «Динамо», где тренировались советские пловцы под руководством, видимо, очень требовательного инструктора; здание государственной оперы, университет, колоссальный почтамт, украшающий Крещатик, величественные массивы правительственных учреждений... Но вспомним, что Киев — столица Республики, с населением свыше сорока миллионов, которая всегда была житницей не только России, но и Европы. Все это можно найти в любом большом европейском городе и может заинтересовать туристов только постольку, поскольку в каждой стране есть что-то новое, что-то другое, не хуже и не лучше, чем у себя, но просто «другое»!

О САМОМ КИЕВЕ

Чтобы уже не возвращаться к Киеву скажу, что город сам по себе очень хорош. Он расположен на хол-

мах, над самым Днепром, который так «чуден при тихой погоде». По пешеходному мосту, построенному в 1957-ом году, легко добраться до чудесных пляжей острова Труханова. На Владимирской горке — рукой подать до отеля «Днипро» — в густых деревьях щелкали соловьи, воздух был напоен ароматом акаций. По вечерам здесь всегда народ: прогуливаются, посиживают на скамейках, причем довольно охотно вступают в беседу. Бронзовый князь Владимир высоко поднятым крестом осеняет воды древней русской реки. С Днепра, — (мы совершили небольшую прогулку на пароходике) — Киев представляется ниспадающим к воде с холмов зеленым каскадом, испещренным многочисленными золотыми маковками церквей.

Замечу кстати, что в Киеве нам предложили показать образцовый колхоз, а также провести вечер в дорогом ресторане со специальным русским меню, в частности, блинами с икрой и шампанским, и с украинскими песнями и плясками. Но ни в колхоз, ни в ресторан мы не поехали.

ХАРЬКОВ

В Харькове мы остановились в гостиннице «Интурист», красивом здании, по переднему фасаду которого идет по всей длине крытая, увитая виноградом терраса.

Центр города — площадь Дзержинского, с памятником Ленину. Харьков промышленный город. Он славится также многочисленными научными и учебными заведениями. По словам нашего гида, именно в Харькове, впервые в Советском Союзе, был расщеплен атом.

К площади примыкает тенистый парк. В одной из аллей, по обе стороны — бюсты, дань памяти молодежи, изображенной в «Молодой Гвардии», ушедшей в подполье для борьбы с немецкими оккупантами. Среди них Зоя Косьмодемьянская со строгим профилем рим-

ского юноши, вероятно опоэтизированная резцом скульптора, Николай Островский и другие.

Тут же поблизости нам показали забавную выдумку: малую Южную железную дорогу «Орленок», пионерский поезд, который обслуживается детьми и покрывает расстояние в несколько километров от станции Парк до станции Листопад, расположенной в густом лесу.

Побывали мы также на заводе по производству строительных блоков для монтажа домов. Администрация встретила нас любезно: видимо, поджидали. Опять цифры, цифры, цифры... Но ведь статистику многие не считают наукой, а только методом, умело пользуясь которым можно прийти к любым желаемым результатам. Условия работы на заводе показались мне крейне неприглядными. Здание напоминает скорее огромный сарай, чем заводское помещение; зимой в нем, вероятно, очень холодно. Грязь — но быть может это объясняется самым характером производства. Лязгает железо. Над головой что-то передвигается с оглушающим грохотом: разговаривать почти невозможно. «Почему не приняты меры, чтобы избавить рабочих от этого ужасающего шума?» — задала я вопрос сопровождавшему нас представителю администрации. Вразумительного ответа, однако, на это не получила.

В Харькове мы пробыли всего полтора дня и одну ночь, но так как смотреть в городе особенно нечего, то у нас оказалось вечером несколько свободных часов, чтобы побывать на представлении цирка Дурова. Прекрасные гимнасты. Забавный клоун. Наездник — не первоклассный. Симпатяги-слоны, покорно поворачивавшие свои массивные туловища по воле дрессировщика. Но все это более или менее, как везде. Единственное, что было не совсем обычно, это выступление перед началом представления. На арену вышел распорядитель и громко провозгласил: «Советский цирк готов служить своей родной земле!» и что-то еще в том же роде. Почему в Советском Союзе нет простоты, все

так напыщено, так бесвкусно? Неужели нельзя просто повеселить советских детишек, не видя в этом как-бы гражданского подвига и никому «не служа»? Иностранцы его слов не поняли, советские зрители восприняли равнодушно, а нам они показались забавными и неуместными...

Замечу кстати, что как в Киеве, так и в Харькове названия улиц, магазинов, учреждений, всевозможные, столь обычные в Советском Союзе лозунги — исключительно на украинском языке: «Гастроном Тютюн», «Все для жинок»; кричащий красный плакат: «Вперед до перемогу коммунизму!» В Киеве, в витрине большого книжного магазина по соседству с отелем «Днипро» все книги только на украинском языке.

В утро нашего отлета из Харькова наш гид использовал оказавшиеся в нашем распоряжении два-три часа для устройства собеседования со студентами харьковского лингвистического института. Видимо, это там было принято. У нас были группы английского и французского языков. Молодежь произвела на нас приятное впечатление. Разговаривали совершенно свободно, на всевозможные темы. Студенты показали хорошее знание языков, но, увы, развивают их в одном определенном направлении. Я задала одному юноше интеллигентного вида, из английской группы, вопрос: «Говорят ли вам, когда вы изучаете Маркса, что его учение во многом не оправдалось и социальное и экономическое развитие пошло совсем не тем путем, как он это предсказывал?» — «Нет, не говорят. А что, например?» — «Ну, например, что обострение между имущими и неимущими классами будет все время усиливаться и это неизбежно поведет к революционному взрыву. Между тем современные, так называемые капиталистические государства сами широко проводят социалистические мероприятия, вовлекая трудящихся в процесс экономического развития, делая их заинтересованными участниками промышленного и экономического прогресса. Но это не революционным, а эволюционным путем...» Он несколько смутился и не нашелся, что ответить.

МОСКВА

Теперь о Москве. Из аэропорта «Шереметьево» к центру города ведет бесконечное Ленинградское шоссе, переходящее в Ленинградский проспект, заканчивающийся улицей Горького. Очень эффектный въезд в столицу. Высящиеся по обе стороны многоэтажные здания наглядно демонстрируют успехи по развитию жилищного фонда города. Москва мощно раздвинула свои пределы и — как об этом приходилось слышать и раньше — стала походить на все другие столицы мира. Но помимо этого, не вызывающего особого удивления или восхищения достижения, чем же украсило столицу советское правительство?

В первую очередь — мавзолей Ленина на Красной площади, место паломничества и для своих, и для чужих. Это своеобразно и ново: такого действительно нигде не увидишь. По разным причинам, этой «святыни» мы близко не видели — но об этом достаточно писали и до меня, так что читатель ничего не потеряет, если я ограничусь этим кратким замечанием.

Гордость Москвы — и действительно оригинальное и чисто советское достижение — московский метрополитэн. Сюда обязательно привозят всех иностранных туристов. Нам показали четыре станции: Киевскую имени Ленина, Красноармейскую, Белорусскую и Комсомольскую. Очевидно, они считаются самыми красивыми. На это сооружение затрачены многие миллионы и в нем как нельзя ярче проявился дух и стиль советской эпохи и вкусы руководителей страны. Метро явно расчитано на то, чтобы поразить воображение, чтобы показать нечто, чего не найдешь нигде, кроме Советского Союза. И действительно: чего-чего здесь только нет — и мрамор, и мозаика, и лепные украшения, и позолота, и цветные витражи. Стены украшены декоративными художественными (?) медальонами, сериями исторических и этнических картин, посвященных той или иной из советских республик. Осветительные сооружения отличаются большой изобретательностью, но нередко ка-

жутся совсем не к месту. Все в целом — чудовищная бесвкусица, нагромождение якобы художественных деталей, которые могут привести в восхищение разве что дикарей и которые лучше всяких слов свидетельствуют о полном отсутствии чувства меры, вообще столь свойственного советскому режиму.

В программу туристских экскурсий в столице входит, конечно, поездка на Ленинские горы, где высятся утопающие в зелени многоэтажные здания Московского Университета имени Ломоносова. По сравнению со старым университетом — это настоящий дворец и любая страна могла бы гордиться таким «Храмом Науки».

В то время, как наши спутники рассыпались по аллеям, выбирая место для наиболее эффектных снимков — мы поднялись по широкой пологой лестнице центрального блока, чтобы посмотреть, как выглядит университет внутри — такого осмотра программой нашей экскурсии предусмотрено не было.

По обе стороны обширного холла тянутся бесконечные коридоры, за дверями которых, вероятно, расположены аудитории, или, возможно, комнаты для студентов и лаборатории. Спросить и взглянуть поближе было некогда. Если мне не изменяет память, холл украшен тремя мраморными бюстами. В центре слегка выдвинут вперед бюст академика Н. И. Вавилова, знаменитого генетика с 1935-го по 1940-й год бывшего вице-президентом ВАСХНИЛ-а. Согласно сухой заметке в советском справочнике, его научная деятельность была прервана в 1940-ом году. Как и кем «прервана» ни для кого не секрет. После поднятой против Вавилова травли, он был сослан и навсегда исчез в одном из исправительно-трудовых лагерей Союза. Перед этим издевательством — затравить выдающегося ученого, а потом увековечить его память мраморным бюстом в учреждении, откуда он был «с позором» изгнан — померкло мое восхищение перед этим «храмом науки» и стало более чем очевидно, что и в этом случае старомодное слово «храм» совершенно неуместно. Из одних камней, стекла и бетона храма не создашь. А вот старый, гораздо более скром-

ный, Московский университет тот был действительно «Альма-Матер» — для многих поколений лучших представителей русской интеллигенции.

Тут кстати упомянуть, что на пути к центру Москвы, на Маяковской площади, около театра «Современник», высится памятник Маяковскому, поэту большевистской революции, который сам стал одной из ее жертв. Из новых обращает на себя внимание монумент в честь освоения космоса советским народом, на Проспекте Мира, ввиде рвущегося ввысь изогнутого, вытянутого, узкого конуса. Издалека, во время поездки по Москве, мелькали то тут, то там высотные здания. По словам гида, таких зданий в Москве в то время было семь. В одном из них находилась гостинница «Украина» — (Кутузовский проспект); назначения других гид нам не объяснил.

Из многочисленных художественных галлерей Москвы нам удалось побывать самостоятельно в Третьяковской галлерее, чтобы взглянуть на некоторые, с детства знакомые и любимые картины русских художников. Как известно, в основу Галлереи положена личная коллекция Третьяковых, поднесенная городу этими представителями дореволюционного русского просвещенного купечества — («буржуазии»).

Посещение Галлереи очень нас утомило — слишком шумно, многолюдно, крикливо. Как это характерно для советских музеев и галлерей — репродукций, открыток, брошюр, художественных сборников почти нет. В этом отношении ничего не организовано, а в пристроенном к главному зданию Галлереи небольшом застекленном павильоне нам предложили только сборник «Передвижники», который нам уже раньше привез кто-то из побывавших до нас в Москве друзей.

Если не считать Кремля, о котором я скажу ниже, Москва не произвела на нас большого впечатления. Отель «Интурист» на улице Горького, где мы жили, окружен сетью улиц, названных в честь дореволюционных представителей русской свободомыслящей интеллигенции: улица Герцена, Белинского, Грановского...

Опять, недоступная для советского понимания, ирония: интересно, как сложилась бы судьба этих людей, живи они при советском режиме и была бы им предоставлена та, почти неограниченная свобода слова, которой они так широко пользовались и за что они теперь в такой чести у советских идеологов?

ПОЕЗДКИ ИЗ МОСКВЫ

В программу туристских поездок из Москвы входит, как правило, Загорск — о котором скажу ниже — и Архангельское. Хотя это не новое, советское, а очень, очень старое, но тем не менее, видимо, достойное внимания.

Архангельское — это загородная летняя резиденция князя Юсупова, приобретенная им в 1810-ом году. Юсупов был знатоком и любителем искусства и собрал в своем поместьи прекрасную коллекцию итальянской скульптуры, картин, фарфора. В обширном парке Архангельского разбросаны различные, тоже представляющие интерес, здания: домовая церковь, крепостной театр, крытая колоннада... Теперь это объявлено государственным музеем.

Через шоссе, напротив княжеского парка — густой лес, или, вернее, тоже парк, по которому пришлось пройти довольно далеко до того места, где остановился наш автобус. Был тихий, предзакатный час. Уже повечернему, полусонно и нежно перекликались птицы. Засыпала трава, чуть шелестела листва... И опять все это ощутилось как свое, откуда-то из-под спуда лет поднявшееся, как бы всплывшее на поверхность сознания смутное и сладкое воспоминание...

Из Москвы можно было совершенно самостоятельно, без гида, побывать в Останкино. Это — родовое гнездо графов Шереметевых, где теперь устроена выставка работ крепостных мастеров. Но нам не удалось посетить этот интереснейший уголок: не хватило времени.

ЛЕНИНГРАД

Ленинград — это известно всем — всегда славился и славится как один из красивейших городов. Во время войны он сильно пострадал, но теперь полностью восстановлен, что, конечно, великое дело. Но какая страна еще не оправилась от губительных последствий войны? Ведь даже зверь умеет зализывать свои раны. Все, что было прекрасного в бывшей столице бывшей Российской Империи, остается таким же прекрасным. Красавица Нева, строгая четкость линий, каналы, обрамленные чугунным кружевом, мосты, дворцы, храмы — все как будто прежнее, но все уже иное и живет по иному, постепенно каменея и превращаясь в музейную достопримечательность.

Ленинград прекрасен. Но что же прибавили к его красоте хозяева Советского Союза? Каковы их достижения, чем они могут похвалиться?

Прежде всего они украсили город новым именем — именем Ленина. Бывший Санкт-Петербург, позднее — Петроград, а на поэтическом языке «Северная Пальмира», превращен в сплошной памятник этому великому учителю человечества, чьим гением и до сих пор вдохновляется советская страна. Но ведь Ленин не сделал для этого города решительно ничего. Это плагиат, вроде литературного, но в планетарном масштабе. Почему бы, следуя этому примеру, не издать «Войну и Мир» под именем ну хотя бы товарища Луначарского? Возьмите план под названием «Достопримечательности Ленинграда» в издательстве «Лениздат», (Фонтанка 59), и внимательно ознакомьтесь с перечисленными на обратной стороне достопримечательностями города. Заметьте, в частности: один памятник Петру Великому, творение Фальконета, около Исаакиевского Собора; один памятник Екатерине Великой, в окружении ее сподвижников, на Казанской площади, против бывшего «многоколонного Казанского Собора», обращенного теперь в «Музей истории религии и атеизма» и с внешней стороны имеющего крайне запущенный и заброшенный вид;

один памятник Пушкину, певцу Санкт-Петербурга, на площади Искусств — задумчивая фигура углубленного в думу поэта и мыслителя... ТРИ памятника Ленину — у Финляндского вокзала, на Московской площади и у Смольного. Заметим, кстати, что в Москве таких памятников СЕМЬ; (см. карту «Москва, издание Московский Рабочий, 1974 г.»). Невзрачная, коренастая фигура Ленина все время маячит перед глазами; его рука простерта вдаль, к новым, светлым горизонтам. Да и вообще это настоящая лениномания. Ведь нельзя буквально сделать ни шага, чтобы не наткнуться на какое-то заслуживающее особого внимания, место, связанное с культом Ленина. Повсюду Ленин, Ленин и Ленин. Ново-Александровская улица № 23 — здесь Ильич встречался с питерскими рабочими; Снежинская улица, № 6/2 — здесь проводил занятия с участниками руководимого им марксистского кружка; проспект Обуховской Обороны, № 107 — посещал воскресные вечерние классы для рабочих Невской Заставы; тут перед отъездом в сибирскую ссылку встретился с социал-демократами; там, в таком-то клубе, в таком-то году, выступал перед партийными работниками Петербурга; жил с Крупской, читал газеты, сдавал какие-то экзамены, с кем-то о чем-то беседовал.. И в заключение ЧЕТЫРЕ квартиры-музея В. И. Ленина! Ведь если ходить поклоняться всем этим святым местам, то ни на что другое и времени не останется. Такого обоготворения своего вождя не знала, кажется, еще ни одна страна в истории мира!

Первым номером на карте Ленинграда стоит Смольный, ибо в нем было создано «первое в истории человечества рабоче-крестьянское правительство» во главе с Лениным. В том же здании для него и Крупской была оборудована жилая комната. Для советских историков этим, видимо, и исчерпывается значение Смольного. Ни слова о том, что отсюда в течение полутораста лет выходили культурные русские женщины, которые, по мысли Екатерины Великой, должны были повысить просвещение и облагородить нравы русского общества в самых отдаленных уголках обширной страны.

«Это было привиллегированное учебное заведение для богатых», разъяснял туристам гид. «Нет, заметила я, богатство здесь было не при чем. Известное происхождение, заслуги родителей воспитанниц перед государством — это да! Далеко не все смолянки были из богатых семей. Было и немало стипендиаток членов императорской фамилии. Николаевская половина Института считалась более привиллегированной, а вторая, Александровская, (позднее переименованная в Александровский Институт), была доступна для девочек самого скромного происхождения.

Советское правительство, в частности, обогатило Ленинград новым музеем, устроенным на крейсере «Аврора», превращенным в филиал Центрального военно-морского музея. Крейсер пришвартован к набережной Невы, как раз напротив Ленинградской гостинницы, в которой мы остановились.

Тяжелое впечатление оставило посещение открытого в 1960 году, на проспекте Непокоренных, Пискаревского Мемориального Кладбища, в память погибших во время продолжавшейся 900 дней блокады Ленинграда. Сначала посетителей ввели в небольшое помещение, где были размещены фотоснимки и некоторые другие материалы, относившиеся к периоду блокады. У входа на территорию этого Некрополя бледно при дневном свете мерцало пламя вечного огня. По широкой, усыпанной гравием аллее мы медленно шли между братских могил ввиде длинных, широких прямоугольников, как погребальным покровом покрытых цветами. В конце аллеи архитектурный ансамбль, в центре которого величественная — (в 20 футов высотой) — статуя женщины, символизирующая мать, оплакивающую своих погибших детей.

Гордость «Северной Пальмиры» — Исаакиевский Собор, показали нам только снаружи, но мы выбрали время побывать в самом храме, который превращен в музей. Описывать его великолепие, Царские Врата меж величественных малахитовых и лазуритовых колонн, бесценные иконы, мозаики — я не сумею, да это и не

надо. Это сделано много раз и без меня.

Уже сами для себя «открыли» Храм Спаса на Крови, напоминающий московского Василия Блаженного, но только более скромного по краскам и по формам. Храм воздвигнут на месте убийства императора Александра Второго — благодарность русского народа Царю-Освободителю! Здание, видимо, реставрировалось снаружи. Храм этот привиделся нам как бы бесплотным виденьем, затушеванным легким сумраком ленинградского вечера.

ЕЩЕ О ПАМЯТНИКАХ

Возвращаясь к памятникам, не могу не упомянуть, что некоторые вещи, увиденные нами в Советском Союзе, представляются мне совершенно несовместимыми. Как могут быть на одной земле воздвигнуты памятник А. С. Пушкину и монумент чекистам? Этого монумента туристам не показывают. Мы сами натолкнулись на него, когда решили собственными ногами промерить в Киеве бесконечную Красноармейскую улицу, бесславное и унылое до предела продолжение Крещатика. В самом конце улицы, направо, среди зелени, мы невольно обратили внимание на два выступающие один из-за другого массивные каменные профиля на грубом, ввиде удлиненного куба, тяжелом постаменте. Мы очень устали и торопились, чтобы не опоздать к обеду, поэтому поленились подойти ближе и прочесть надпись, однако при первом удобном случае спросили нашего гида: «Кстати, что эта за памятник в самом конце Красноармейской улицы?» Он несколько замялся: «Это памятник чекистам...» Мы не нашлись, как на это реагировать. Можно только скорбеть о стране, в которой ставят памятники этим кровавым героям советской эпохи и еще восхваляют их подвиги в художественной литературе! — «Слава вам, могучие чекисты!» Это — пер-

вая строка когда-то попавшегося мне на глаза в одной книге советского автора настоящего гимна чекистам, очевидно, в назидание подрастающему поколению. Не отстает и Москва: в детском парке имени Павлика Морозова водружен памятник и этому юному патриоту, в жертвенном порыве сделавшему донос на своих родителей; а на площади Дзержинского, тоже в Москве, есть монумент и ему для того, видимо, чтобы благодарный советский народ не забывал этого благодетеля и его «золотое сердце»!

ЕЩЕ О ЛЕНИНГРАДЕ

В Ленинграде были, конечно, в Эрмитаже, на Дворцовой Набережной, в здании бывшего Зимнего Дворца. Но Эрмитаж во все времена славился своими художественными богатствами и заслуга советского правительства тут только в том, что в первые годы революции не все было разворовано и распродано заграницу в обмен на твердую валюту. Никаких репродукций, художественных сборников и так далее здесь нам тоже достать не удалось, а на вопросы об этом ответы мы получали самые нелюбезные — (если не сказать, «грубые») — «Нет и все тут...»

Но что поразило меня в самом Ленинграде, так это Невский проспект. «Скажите мне, что может быть прекрасней Невской Перспективы, когда огней вечерних нить начнет причудливо чертить в тумане легкие извивы?» — (Цитирую по памяти.) — восклицал когда-то в патриотической ностальгии эмигрантский поэт, певец Санкт-Петербурга, Агнивцев. О, если бы он мог увидеть ее в наше время. Теперь гораздо правильнее было бы сказать: «Что может быть печальней Невской Перспективы?» Главная улица второго по своему значению города Советского Союза, города с такой славной и скорбной историей, производит жалкое впечатление.

Здания запущены, штукатурка облуплена, многие помещения пустуют, окна их замазаны белой краской, витрины жалкие; как повсюду в Советском Союзе, нам то и дело попадались какие-то убогие киоски с прохладительными напитками и с какими-то брошюрками и открытками. В магазине стекла и фарфора в грязной витрине была выставлена одна ничем не примечательная ваза. В магазине репродукций никаких репродукций мы найти не могли. Ни кафе, ни баров, ни оживленной толпы с покупками, с цветами. Все так уныло, так серо. Знаменитый когда-то магазин Елисеева выглядит бедно; на полках были расставлены банки с ядовитого цвета леденцами, как в самой захудалой деревенской лавченке. Кондитерские изделия показались нам какими-то уж черезчур незамысловатыми, вроде «Ленинградского Сувенира» — коврижки, слегка промазанной вареньем; этот же «Сувенир» нам усиленно предлагали и в нашей гостиннице. Так как мы говорили по-русски и были одеты очень скромно, нас не стеснялись, видимо, принимая за своих, и мы были свидетелями, как две усталые продавщицы грубо препирались между собою по поводу того, кто из них и сколько отработал часов и кому идти на какую смену.

Порядок в магазине такой: сначала узнай цену — (на товарах цены не указаны), потом заплати в кассу и получай купленное из рук в руки в обмен на талон. Это мне напомнило случай в Киево-Печерской Лавре, где явно утомленная и измученная женщина, продававшая у входа какие-то захудалые книжечки, испуганно воскликнула: «Пока денег не получу, из рук не выпущу!» и выхватила у меня брошюру, которую я захотела просмотреть.

В Ленинграде нам показался странным способ оплаты проезда на троллейбусах и в трамваях. Где-то в центре помещается автомат; так как в толпе протискаться к нему невозможно, давали деньги, какие находились, уже не думая о сдаче; они передавались из рук в руки, опускались в автомат, а билет переправлялся нам тем же порядком.

НЕОЖИДАННОЕ ЯВЛЕНИЕ

Как видим, если откинуть наследие царского времени, достижения советского режима не столь уж велики. Но что же показывают туристам, не желающим удовлетвориться московским метро, жилищными комбинатами, памятниками Ленину и его сподвижникам? Как ни удивительно, в стране, где религия объявлена опиумом для народа, где Бог давно отменен, где рубили и жгли иконы, оскверняли и уничтожали церкви и монастыри, а священнослужителей и монахов всячески поносили и притесняли, считая их вредными тунеядцами и паразитами, где вот уже более шестидесяти лет идет штурм неба, — вдруг спохватились, вдруг поняли, что перечисленные выше достижения социализма еще не дают ему патента на культурность, что нужно предъявить западному миру и что-то другое. Но что другое, откуда его взять? И вот вспомнили и начали интересоваться старинными церквами, храмами, монастырями, иконами. В стране Интернационала вдруг признали высокое национальное значение священных обителей, вспомнили о духовном наследии русского народа, разыскали еще не уничтоженные и не расхищенные иконы и предметы религиозного культа, бросились золотить купола храмов и восстанавливать церкви, из которых многие уже успели превратиться в развалины.

ПОЧИТАЕМ СПРАВОЧНИКИ

Беру туристский справочник на английском языке «Киев», издательство «Новости», страница 138, читаю: — «В течение многих столетий Киево-Печерский Монастырь был центром украинской культуры. В 16-ом и 17-ом столетиях ряд видных общественных деятелей, писателей, миссионеров, получили образование в монастыре. Для многих выдающихся художников монастырь служил полезной художественной школой. Книги, изданные в его типографии, были чудесно иллюст-

рированы гравюрами на дереве и офортами... Они пользовались большим успехом во всех славянских землях.»

А вот справочник «Интурист» — тоже по-английски — «Владимир-Суздаль» . Предисловие: «Культурное наследие древней Руси одновременно велико и многосторонне. Замечательные памятники, созданные российскими художниками и архитекторами, восхищают нас и по сей день своим высоким мастерством замысла и талантливостью исполнения. Поэтому в наше время (?) народ с глубоким интересом относится к этой странице русской истории.» А затем — сплошь изображения старинных монастырей и храмов, — чудом избежавших гибели.

Вот Успенский Собор, «символ могущества и высоко развитой культуры северо-восточной Руси», который возвышается на крутом берегу реки Клязьмы. Перелистываю дальше: «В полутора километрах от Боголюбова, на берегу реки Нерль, находится один из самых поэтических и вдохновенных памятников древней Руси — Храм Покрова Пресвятой Богородицы.» И еще о том же храме: «Это не только одна из жемчужин города Владимира, но величайший шедевр мировой архитектуры». Да, таких «шедевров мировой архитектуры» Советский Союз пока что не создал и вряд ли создаст. Для этого нужны сосредоточенная духовность, бескорыстная и высокая любовь к искусству и боговдохновенный творческий порыв. Все это чуждо «советской культуре».

«Архитектурные памятники Владимира и Суздаля — говорится далее в той же брошюре — заботливо охраняются советским государством». Заботливость эта, однако, увы! очень недавнего происхождения.

ЧТО ЖЕ НАМ ПОКАЗАЛИ

Начнем с Киева. В программу показа города входило обязательное посещение Киево-Печерской Лавры,

о которой я уже говорила. Там действительно велись археологические работы и были обнаружены старинные фрески, частично освобожденные от позднейших наслоений. Весь монастырский ансамбль чудесно расположен над Днепром, но в общем произвел на нас довольно грустное впечатление. В одном из храмов была устроена выставка, не имевшая никакого отношения к Лавре. Чуть ли не бегом, не давая опомниться, провели нас по подземным пещерам, где, правда, в чинном порядке, не оскорбляя религиозного чувства, покоились мумии святых и монахов.

Туристов везут обычно также в Свято-Софийский Собор на площадь Богдана Хмельницкого, к которому примыкают различные другие архитектурные памятники: колокольня, митрополичий дворец, здание бывшей семинарии, и так далее. Из того же справочника «Киев» узнаем, что «Собор был центром, где писались летописи и где, под его покровительством, была создана первая русская библиотека. Здесь принимали иностранных послов, короновали князей и устраивали торжества в честь победоносных военных вождей. Хотя Свято-Софийский Собор считался символом христианства и княжеской власти в древней Руси, он играл колоссальную культурную роль в жизни государства.»

Католический костел на Красноармейской улице был закрыт и заколочен. Нам указали только одну «действовавшую» в то время православную церковь, но когда мы обнаружили ее, она была еще закрыта. Зато нам удалось ближе познакомиться с церковью Святого Андрея, восхитившую нас гармоничностью своих пропорций. Церковь построена по проекту Растрелли русским зодчим И. Ф. Мичуриным — (начата постройкой в 1792 году). В основе иконостаса — «39 икон, изображающих мифическую жизнь Иисуса Христа.» Открыта, как музей, постановлением Госстроя УССР от 1968-го года. А что же было до 1968-го года? Мерзость запустения? Нескоро спохватился Госстрой взять в свое ведение этот уникальный памятник русского барокко!

В Харькове — но только издали — видели старин-

ный Успенский Собор; ближе не показали: в то время он реставрировался. И опять недоуменный вопрос: зачем и почему именно в последние годы? Ведь все это пережитки мрачного прошлого, о котором давно пора забыть!

Ну, а в Москве, конечно, после обязательной экскурсии по городу — Храм Василия Блаженного, прославленный азиатским великолепием и причудливыми линиями своих куполов. Пройдя Храм и свернув налево, выходишь на улицу Разина. Улица эта — в самом центре столицы; по ту сторону ее, несколько ниже, расположен один из новых роскошных отелей «Россия». Она поразила нас своим убожеством. По левую руку тянулись какие-то одноэтажные здания, что-то вроде складов, грязные, частично заколоченные, убогие. По правую — одна за другой шли старинные церкви, теперь для нас безымянные, мертвые, слепые и безгласные. Маковки некоторых из них, однако, были уже позолочены; в оградах были видны кучи песка, строительного материала. Видимо тоже готовились к реставрации. Да, удивительную поспешность проявляет советское государство в своей заботе о ставших для него теперь такими «драгоценными» памятниках русской старины!

ЗАГОРСК

Туристам обычно предлагается также посещение Загорска. Это городок, расположенный в 71 километре от Москвы, центр игрушечной промышленности. Но славится он не своими игрушками. По словам справочника «Москва, Ленинград, Киев», «вы должны побывать там во что бы то ни стало»; дело в том, что в Загорске находится Троицко-Сергиевская Лавра, основанная в 14-ом веке. В справочнике подробно говорится об исторической и культурной роли Лавры в истории России и описываются церкви, расположенные в пределах

монастырской ограды. Впечатление от посещения Лавры какое-то двойственное. У входа в Лавру, расположенную на некотором возвышении, пристроились несколько жалких ларьков, торговавших несъедобными булочками и пирожками. Почти никаких снимков, брошюр, посвященных этому историческому месту, мы там не нашли. Удалось купить только коробочку диапозитивов — («Подмосковье—Загорск»), да и то при ближайшем рассмотрении оказалось, что половина из них относится к какому-то никому не интересному ленинградскому заводу «Оргтехники».

Настоящего уважения к этому святому месту не чувствовалось. Так, вступая под крытый свод входа на территорию Лавры, мы не могли не обратить внимания на огромные, грубо сколоченные из дерева двери, по обе стороны, на которых белой краской было намалевано на одной — «Ж», а на другой — «М». Это бесстыдство и ненужная грубость совершенно в советском духе: мы не удивились, но невольно как-то внутренне сжались.

Одна из достопримечательностей Лавры — могила семьи Годуновых — в запустеньи и глубоко осела в землю. Сокровищница, где, как нам передавали, хранится немало еще уцелевших исторических реликвий и церковных ценностей, была закрыта. Чтобы попасть туда, нужно было, видимо, получить какой-то особый пропуск. Для нас этого сделано не было, хлопотать на месте было уже невозможно: слишком мало времени было у нас в распоряжении. Пока мы дожидались местного экскурсовода, женщины, которая должна была показать нам устроенный в одном из храмов музей, мы сами пошли посмотреть, что можно, и в одной из второстепенных церквей — (как она называлась мне сказали, но я к сожалению не записала и теперь не помню) — нам посчастливилось попасть на богослужение у раки Св. Сергия Радонежского. В храме царил полумрак. Со стен бесстрастно взирали на нас лики святых, написанные когда-то верующими и для верующих. Купив свечи, мы прошли налево, где за низкой решеткой, на

возвышении, стоит кованая из серебра гробница Святого. Крышка была откинута. Служил пожилой иеромонах, весь в черном. Около решетки толпился народ; большей частью пожилые женщины, любопытные туристы... и мы: кто мы здесь — спрашивала я себя — такие чужие, и в то же время в каком-то ином, глубоком смысле, такие «свои»? Каким чудом довелось нам поклониться этой русской святыне?

Думается, что человечеству нужны святые подвижники. Они — живое свидетельство, что в каждом человеке теплится искра Божия: в этом и утешение, и надежда...

Продолжаю о Загорске, где нам пришлось увидеть выставки, никакого непосредственного отношения к Лавре не имевшие. Так, в самом отдаленном углу на территории монастыря мы обнаружили маленький скромный на вид музей фарфоровых изделий завода «Вербилок». Выставленные сервизы, кувшины, вазы, тарелки, отличались необычайным изяществом рисунка и красок. Это было до такой степени непохоже на ту бесвкусную пестроту, которая предлагается туристам, как образец русского кустарного мастерства, что мы просто глазам не поверили. Откуда такая красота на фоне царящей в стране чудовищной бесвкусицы? И вот дознались, «откуда». Это — изделия бывшего Кузнецовского Фарфорового Завода, в свое время знаменитого не менее Императорского; искусство было, видимо, завещано новой смене старыми мастерами.

Музей Лавры мы осмотрели под руководством женщины-гида. Это была просто выставка народного кустарного искусства: вышивки, деревенские наряды, кокошники, ручники, деревянные, точеные руками кустарей изделия, ложки, жбаны, резные дверные и оконные наличники и тому подобное. Все свидетельствует о прирожденном вкусе русского народа. Тут остался в памяти случайный, забавный и чем-то трогательный эпизод. Вместе с нами переходила из комнаты в комнату музея русская женщина скромного вида, с двумя мальчиками. — «Откуда вы?» — «Из Омска.» — «Ой,

как далеко! А мы из Лондона.» — «Из Лондона, — вмешался в разговор мальчуган постарше, «да не может быть!» — «Как не может быть, почему? Ведь и в Лондоне люди живут. Вот вырастешь, сам там побываешь.» — Мальчик явно не верит: «Ну, это уж вряд-ли...»

ЕЩЕ ОДИН МОНАСТЫРЬ И ЕЩЕ ОДНА ВСТРЕЧА

В Москве не упустили показать нам, правда — мимоходом, на пути к Университету, совершенно исключительный по красоте местоположения и изяществу Новодевичий Монастырь, уединенный, как-бы задумавшийся над спокойной водной поверхностью. На несколько минут туристов выпустили из автобуса, чтобы сделать снимки. Мы же отделились от остальных, желая подойти поближе и на несколько минут остаться одни. И тут нас остановила уже немолодая женщина, с которой мы обменялись несколькими, как-будто малозначащими, но запавшими в душу словами. «Какая красота!», обращаясь к ней, воскликнули мы. «А вы что, приезжие? Неужто русские?» И посмотрела на нас внимательно и строго. «А Бога-то вы там не забыли?» Мы даже слегка смутились. «Нет, не забыли — а вот как вы здесь?» Она подняла глаза и прижала руки к груди: «Мы? Мы вот здесь все, все сохранили...» Кругом стояла тишина. Застыл, как зачарованный, древний монастырь. Казалось, на одно мгновенье, мы прикоснулись к душе России.

МУЗЕЙ ИМЕНИ РУБЛЕВА

Раз мы уже заговорили о пробудившемся в Советском Союзе интересе к старинным русским иконам, нельзя не упомянуть о Музее Древнерусского Искусст-

ва имени Андрея Рублева — (Москва, бывший Андронников монастырь, Прямикова площадь, 10). К величайшему сожалению побывать нам в этом музее не удалось. Но, видя, как советские гиды демонстрируют не только иностранным туристам, но и советским гражданам художественные памятники христианской эпохи в истории России, я всегда задаю себе вопрос: при отсутствии в стране религиозного воспитания, как умудряются они объяснить значение и смысл церковной живописи, в частности, икон. Ведь очень многие советские граждане просто НЕ ЗНАЮТ — употреблю советское выражение — «Христианской православной мифологии». Я была сама свидетельницей, как в Харбине, в Св. Николаевском Соборе, молодой красноармеец из оккупировавшей Маньчжурию советской армии, войдя в храм и с недоумением озираясь по сторонам, ткнул пальцем в икону Божьей Матери и спросил: «А это кто?» Но ведь чтобы понять, «кто это?», надо иметь хотя бы основные представления о христианстве, об его истории, его догматах. Зачем водить детей, да и взрослых, по всем упраздненным за ненадобностью храмам и монастырям? Зачем показывать священные изображения и как ухитриться разъяснить им то, что может быть понято только — и исключительно — в плане религиозного сознания?

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ

Вместо того, чтобы, описывая московские впечатления, прежде всего поговорить о Кремле, почему-то захотелось закончить «о Москве» именно Кремлем. Мы были там дважды — сами и с экскурсией. С экскурсией осматривали главным образом Оружейную Палату; это было утомительно и не произвело впечатления. Сами, после осмотра кремлевских храмов под руководством гида, еще раз побывали на Соборной Площади Кремля.

Удивительно, как в упомянутом выше справочнике подробно перечислены точные названия отдельных храмов, окружающих эту площадь. Собор Двенадцати Апостолов — 17 век; Успенский Собор — 15 век, воздвигнут по проекту итальянца Фиораванте, но руками русских строителей; описываются находящиеся в нем драгоценные иконы, в частности, Св. Георгия (12 век) и Владимирской Божьей Матери (11 век), которая теперь перенесена в Третьяковскую Галлерею; говорится об украшающих стены Собора старинных фресках. Здесь короновали на царство русских царей. Здесь сохранился трон Ивана Грозного. А вот Ризоположный Собор (15 век) — бывшая домовая церковь российских митрополитов и патриархов; Благовещенский, Архангельский — в нем покоятся останки русских православных правителей. Подымаются к небу увенчанные крестами золотые купола... Уже больше шестидесяти лет, как здесь потухли свечи верующих, не курится ладан, не возносится молитв. Все это — далекое прошлое! Но дух захватывает от почти физического ощущения большой истории большого народа, естественное течение которой было прервано таким насильственным путем!

ПОСЛЕДНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

О ленинградских храмах я уже говорила выше. Остается сказать еще несколько слов о двух экскурсиях в окрестности Ленинграда. Это тоже были экскурсии в мир прошлого. Сначала в Петродворец — (бывший Петергоф), а затем в город Пушкин — (бывшее Царское Село), и в Павловск.

В Петергофе дворец и фонтаны восстановлены и открыты для публики. Гиды все время подчеркивают кропотливую, упорную и увенчавшуюся полным успехом работу реставраторов... Конечно, трудно переоценить ее значение — честь им и хвала! Дворец и парк с

бесчисленными фонтанами, каскадами, повсюду блистающими, поющими, играющими на солнце водяными струями, производит чарующее впечатление.

В Пушкине мы смогли увидеть Екатерининский Дворец — (Растрелли) — только снаружи, так же как и здание Царскосельского Лицея, и через ограду — лицейский сад, где, по словам поэтессы — на скамейке «лежала его треуголка и растрепанный том Парни».

В Павловске, во дворце императора Павла Петровича, побывали внутри. Все интересно, на все хотелось бы иметь больше времени, но в этих местах, где можно было бы бродить целыми днями, мы смогли провести считанные часы.

Известно, что в Советском Союзе принято торжественно отмечать «пушкинские дни». Так, было отпраздновано 175-ти летие со дня рождения поэта. Думая об этом, трудно удержаться от мысли: что общего у советского режима с Пушкиным? Как советское правительство берет на себя смелость считать «своим» поэта, который сам написал про себя:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к павшим призывал.

Пусть уже лучше советские руководители остаются с действительно «своими» поэтами, воспевающими чекистов и «золотое сердце» палача Дзержинского!

ФОТОГРАФИИ

Примечание:

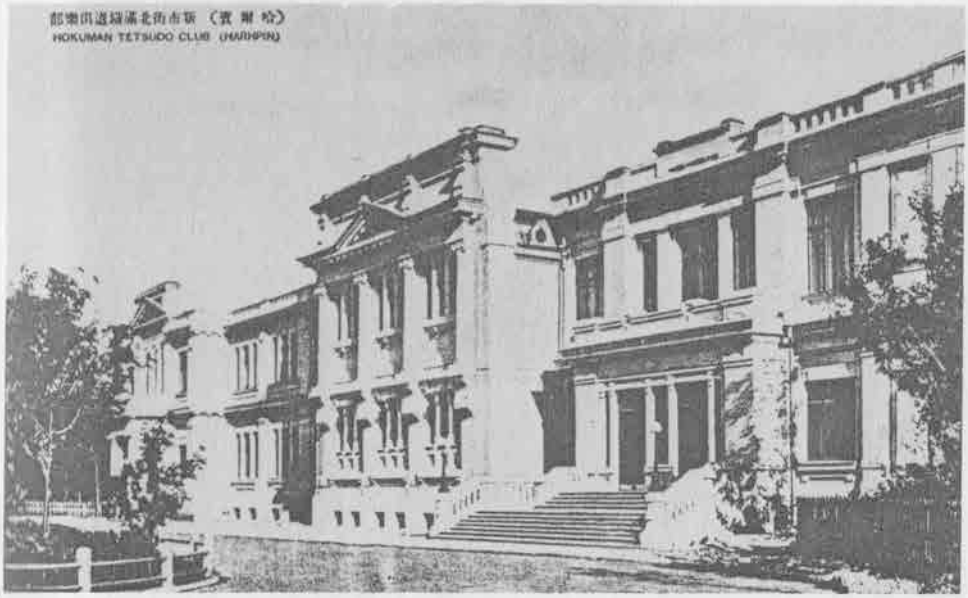
Фотографии относятся к разным годам — все, что удалось сохранить автору.

ПОРТРЕТ АВТОРА

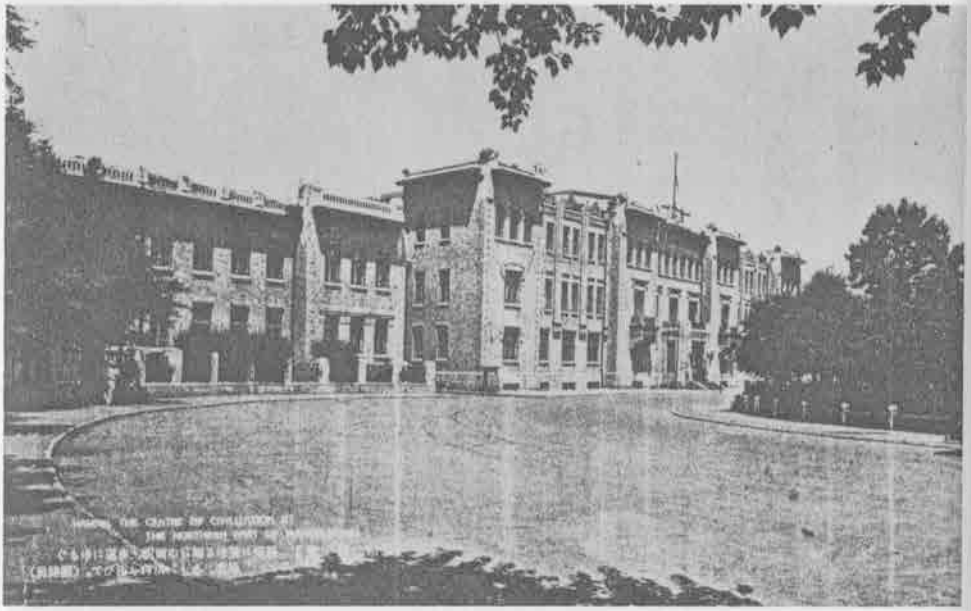
Вокзальный Проспект. Вдали в дымке здание вокзала Харбин-Центральный.

Виадук соединяющий два района —
Пристань с Новым Городом

Один из универсальных магазинов «И. Я. Чурин и Ко» в Новом Городе на Большом Проспекте



Железнодорожное Собрание в Новом Городе



Главное Управление КВжд, (г. Харбин)

Б. Штаб Военного Округа (г. Харбин)

Китайская ул. угол Сквозной. В угловом здании помещался ДОБ, (Харбин — Пристань)

Гор. Харбин — Пристань, Китайская улица

Гор. Харбин — Пристань, Китайская улица

Гор. Харбин — Пристань, Водопроводная ул.

Отель «Модерн». Харбин — Пристань, Китайская ул.

Гор. Харбин — Пристань, Мостовая улица

Гор. Харбин — Пристань, Мостовая улица

Гор. Харбин — Пристань, Мостовая улица

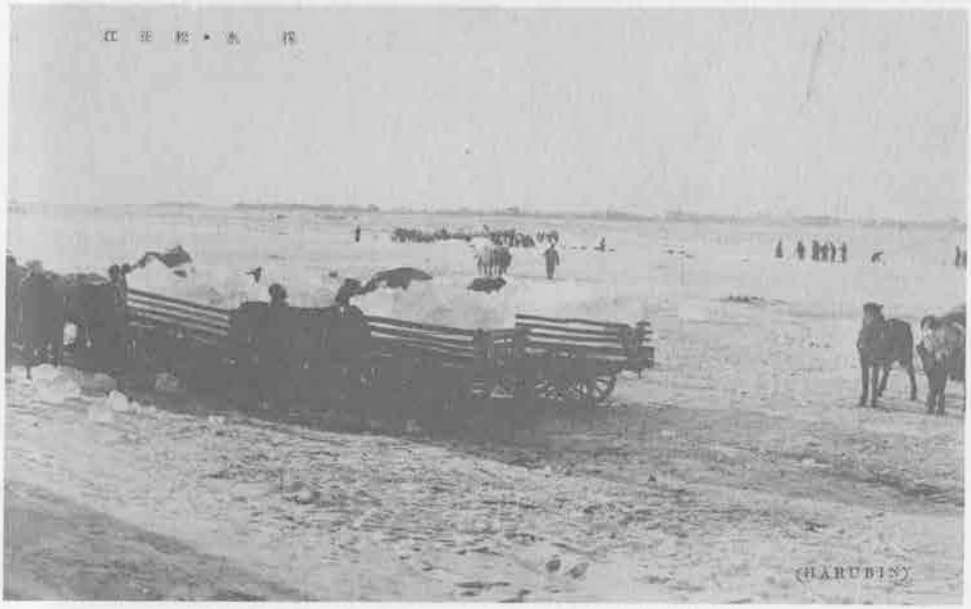
Китайская улица во время наводнения в 1932 г.

Затон под водой. Наводнение в 1932 г.

В импровизированном жилище во время наводнения

Гор. Харбин. Зимой на реке Сунгари.
«Толкай-толкай» в ожидании пассажиров

Ледяной крест и купель изо льда. Сооружение к празднику Крещения Господня в «Доме Милосердия», при Св. Скорбященском храме, в районе Модягоу



Заготовка льда для набивки ледников на р. Сунгари

Купальни на правом берегу реки Сунгари

Курортная станция Фуляэрди. В глубине снимка виднеется крыша санатория, утопающего в зелени

Одно из красивых зданий на станции Фуляэрди

Харбинский Кафедральный Свято-Николаевский Собор, в Новом Городе на Соборной Площади. На переднем плане — Иверская часовня — копия Московск. Иверской

Военная Св.-Иверская церковь, расположенная в Новом Городе на Офицерской улице

Внешний вид Благовещенского храма,
в районе Пристани на Полицейской ул.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Исторический очерк	I - XII
Вступление	1
Несколько слов о Маньчжурии	2
Охота и охотники	4
Пора и честь знать	6
Как мы там жили	7
Русские храмы	8
Наш быт	20
Русское гостеприимство	25
Жизнь молодежи. Развлечения	26
Наши встречи	29
Служба	30
Еще о развлечениях	32
Дом на реке	41
Советская оккупация	44
Один день	51
События идут своим чередом	55
Наша пресса и ее судьба	55
Библиотеки и книги	59
Наши поэты	61
Жертвы безвременья	68
Судьба японцев	72
Шигено	77
Наводчик	83
Еще одна драма	85
Роль советского консульства	88
Отношение китайцев	90
Новый Китай	91
«Старый» Китай	92
Новое время, новые люди	95

Как это началось. 97
О характере китайцев. 99
Поиски выхода. 102
Перемена. 104
Целина. 105
Собрание в Коммерческом клубе. 107
Советское консульство. 108
Советские паспорта. 109
Хлопоты. 109
Общая обстановка. 111
Проводы. 113
Вести оттуда. 114
Судьба храмов и кладбищ. 119
В Харбине после нас. 122
Благословенная Маньчжурия. 126
Контрасты 130
Лихорадка сборов. 132
Прощание. 136
Мой маленький друг. 140
Отъезд. 141
В Тяньцзине. 143
Мы пускаемся в море. 146
Ноев Ковчег. 148
Мы приезжаем в Гонконг. 152
Новые впечатления. 154
В Гонконге. 155
Мы покидаем Гонконг. 160
На борту парохода. 161
Сидней. 162
Лирический дневник. Стихи. 165
Поездка в Советский Союз. Глазами эмигрантки. 189
Предисловие. 191
Необходимые предпосылки. 192
Еще об отелях. 196
Вопросительный знак. 196
Еще о прогрессе. 198
Да, но... 199
«Западни» для туристов. 200
Организация передвижения. 201

Достижения. 202
Киев. 203
О самом Киеве. 204
Харьков. 205
Москва. 208
Поездки из Москвы. 211
Ленинград. 212
Еще о памятниках. 215
Еще о Ленинграде. 216
Неожиданное явление. 218
Почитаем справочники. 218
Что же нам показали. 219
Загорск. 221
Еще один монастырь и еще одна встреча. . . . 224
Музей имени Рублева. 224
Московский Кремль. 225
Последние впечатления. 226
Фотографии. 229
Оглавление 259

Русское Национальное
Издательство и Типография
Владимира Азар.
Технический редактор — А. В. Гибанов.

**Напечатано в Русском Национальном
Издательстве «Глобус»
Globus Publishers 332 Balboa Str. P. O. Box 27471
San Francisco, CA 94127. Tel. (415) 668-4723**